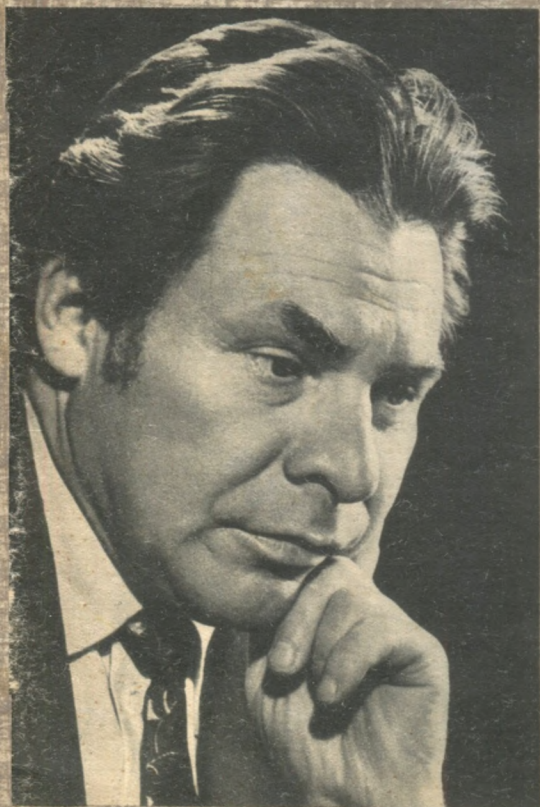


# РОМАН ГАЗЕТА

№2(744)·1974



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

В ЧИСТОМ  
ПОЛЕ  
ЗА ПРОСЕЛКОМ





В шестидесятые годы на литературную арену вышла блестящая плеяда писателей, чье творчество и по тематике и по истокам связано с послевоенной деревней, жизнью колхозного крестьянства. Евгений Носов — один из самых ярких представителей этой плеяды. Жизнь его всеми корнями уходит в среднюю полосу России, в Черноземье. Здесь, под Курском, он родился в 1926 году, отсюда 18-летним юношей ушел на фронт.

В книгах Носова сменяют одна другую на редкость живые, покоряющие правдою внутреннего смысла и содержания картины сельской жизни той же средней полосы России.

В каждом из героев повестей Носова есть своя душевная изюминка, запас добра, человечности, неистраченного чувства, неизрасходованной энергии, способных по-новому осветить всю дальнейшую жизнь человека.

Вот совсем еще юные Митька и Аполоска в повести „В чистом поле за проселком“, где говорится о радостном для всех возрождении древнего кузнечного дела. И видим-то мы их в одном небольшом эпизоде в кузнице, но эпизод этот так вписан в сюжет повествования, что нам в общих контурах представляется будущее этих деревенских ребят, их судьбы. Сколько прелести, чистоты и целомудрия в зарождающейся любви Варьки и цыгана Сашки (повесть „Варька“) и как органично раскрывается эта любовь на фоне сельского пейзажа.

Немало прекрасных картин сенокоса есть в русской литературе, но вот читаешь в повести „Шумит луговая овсяница“, как собираются и едут на сенокос колхозники, как весело и нетерпеливо предвкушают они трудную, но на диво азартную и удалую в радостном порыве работу, — и тебя увлекает естественная гармония этого исконного трудового действия. Все здесь в движении, все исполнено особого значения: и купание перед началом сенокоса, и сооружение бригадного становища, и уж, конечно, сама косьба, и потом дымящийся бараний кулеш за общим столом... Велика и вдохновляющая сила трудового сплочения, будь то маленькая ячейка общества — семья или большая бригада взрослых уже людей, вооруженных современной техникой!

Потому и спорится труд на земле, что любят герои Носова эту землю, на которой родились и выросли, которая кормит их хлебом и одаривает красотой. Вот Анфиса, дитя войны, молодая женщина с нескладной судьбой; может быть, в самый заветный, самый жданный час своей непутевой жизни говорит: „Я поле люблю... Всякое люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще серо, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет — видно... А то когда еще дождь в мае... Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка. И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается под ним... И хлеба на глазах растут...“

Ныне, когда проблемы обережения природы особо волнуют человечество и решение их начинают искать на межгосударственном уровне, — как же дорого полное сердечного тепла и ласки слово писателя о родной земле, как же поучительна и нравственно возвышающая корневая привязанность к ней его героев!

И в образе доярки Анисьи Квасовой („Пятый день осенней выставки“) художник показывает благородный и нелегкий путь деревенской труженицы, ее кровное единение с родной землей.

Деликатно и мягко раскрывает Носов душевную жизнь людей. И оказывается, что и грубоватые с виду, и замкнутые, и неприметные ничем, самые обыкновенные, — они сочувливы и бескорыстны, добры и искренни. Такова пожилая крестьянка Алена в повести „На рассвете“, которая, глядя в зеркало, вспоминает себя с девичьей косой, свои молодые годы, и читатель видит нелегкий жизненный путь этой женщины, возраставшей детей, кормившей страну. Носовская добрая улыбка, его глубоко человеческий, даже какой-то застенчивый, словно боящийся быть навязчивым юмор окрашивает прозу писателя в очень привлекательные неяркие и мягкие тона позднего лета.

Несколько слов о жанровых особенностях произведений Носова. Некоторые вещи, вошедшие в этот выпуск „Роман-газеты“, ранее публиковались как рассказы. В одном из последних изданий автор объединил их подзаголовком „Деревенские повести“. Мне кажется, Евгений Носов нашел здесь верное жанровое определение: это именно повести о судьбах людей и судьбах деревни. Уплотняя сюжет, останавливая внимание только на самом существенном, писатель в то же время создает полную картину завершенности повествования. Время в его произведениях имеет какой-то особый смысл. Долго ли, коротко ли отрезок времени, захваченный повествованием, он как цельный кусок жизни в ее непрерывном течении, до отказа заполненный содержанием.

Человек труда и человек в труде, его душевная деликатность и нравственная чистота, его любовь к родной земле — вот что самое характерное в повестях и рассказах Носова. Всех героев Носова роднит одно прекрасное светлое чувство полноты бытия, счастья жить и трудиться на своей земле. В этом и есть вековечный смысл жизни, этим и дорога она Евгению Носову, художнику очень земного и сердечного таланта.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА

## ЕВГЕНИЙ НОСОВ В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ

*Деревенские повести*

### В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ

#### I

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цвет, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с голубооким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле, проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нателным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распался, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же

временем расчистили пожарище, прикатили новый раковитый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бесшумно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смольная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском, и залиvistым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызывают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы повисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить.

Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смысленного мальчика, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилков явственно долетело: «Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...».

## II

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ошипывали кочетов или разбирали пороссячи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услышали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный звук молотка в ночи за деревней услышал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бородачка росла не сплошным, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему придет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласие вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, салцу — смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясно кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стиральной. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздником, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубашке, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат вошел и затынул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы страхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Ну ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были залепаны горчицей-желтым тестом.

— Да росошинский «Верный путь», — отложил газету Денис Иванович. — По сводке у них/вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронута. А вот, поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, — вставил Квадрат. — И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я ж говорю, — поспешно согласился Квадрат. — К ученой голове еще должен быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством править куда с добром.

— Гм... — кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи, не прорежены бегами да вербовками, — продолжал гомонить Квадрат, посаживаясь к жареной капусте. — Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу, — сказал Денис Иванович. — У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как леопарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы совестились.

— Образу, ей-бо, образу, — заморгал бесцветными веками Квадрат, — Я ведь к чему?

Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя... — поморщился Денис Иванович. — Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу, — кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне. — Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать телянок издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

— Закуси, закуси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем, доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы спуститься впотьмах, в это время и долетел до Серпилки стран-ный перезвон.

— С-слышь? — наострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это... — определил Квадрат.

— Какого лешего... — возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт ты дери! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... — понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его почерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест выззанивает...

— Спят ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер, — сказал Денис Иванович.

— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

— Однако ты хватил сегодня, — сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. — Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никого ни стука, ни грюка не слышать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота одолела...

— Ну это ты... того... — буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм, — сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную трыпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: — А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович, — позвал он. — А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулок Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликал:

— Идешь, Денис Иванович?

— Да иду. Где ты там?

— Я к тому, что... Идешь ли?

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнувшими в темноте теплыми, настоящими хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь...». Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнилла... Но впереди упрямо крошились забытые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис... — негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегнишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угрозил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужасть! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, построили.

— Затихло что-то... — сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Гля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузничных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли, — твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в



кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, спрясав за створкой, заглянул во внутрень.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела неросиновая копилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь которую был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоты ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иванович... — окликнул из-за створки ворот дедок.

— Ну?

— Никого... негути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку...

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

— У-у... у-у... — произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика. — У-у...

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и покутатый обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я... — захныкал малец и залоснил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашки сорванец! — тотчас взвизгивая воробьем залетел в кузницу Квадрат. — Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирый подштанниковый. Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбулдяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка. — Я только мехи качал... Это все Аполосшка...

— Я и Аполосшке уши накручу!

— Погоди ты, — отпихнул дедка Денис Иванович. — Сразу и уши откручивать. Аполосшка, где ты тут?

— Вылазь немедленно! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я... — глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислопечий Аполосшка, старший Митькин брат. Конфузливо подмигивая носом, Аполосшка усталился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятишек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— Погоди, не лотоши, — поморщился Денис Иванович и спросил Аполосшку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой.

— Ты ковал?

— Я... — отворачиваясь, сознался Аполосшка.

— Это что ж такое будет?

Аполосшка промолчал.

— Это дышляк, — сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит, — быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами. — Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тут дырку заклепаем, и котел будет... А тут колеса... Пар сначала пойдет здесь, потом здесь и здесь...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполосшка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполосшка перемаялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козлистый!



— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполوشка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполوشка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм... — пожевал губами Денис Иванович. — Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполوشка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполوشка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

#### IV

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполوشка пошуридил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бугристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчивосиние, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполوشке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотря, как Аполوشка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в сивой окалине клещи, на гневно ревуший огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала

все понятия, то ли сам Аполوشка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок, — а поди ж ты! Но скорее всего оттого заворожено стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, прймай паровоз! — крикнул Аполوشка так, будто это не был Агафкин Аполوشка, в огороде которой молнией разбил грозу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполوشка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хроющую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполوشка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполوشку только взглядом: «Здесь?» — и Аполوشка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затыкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнечное «дилинь», непремненное для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполوشка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжело сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполوشка снова был молчаливо-суров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или на четыре угла? — обернулся он погода к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполوشка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт... — сказал он.  
— Нарезать? — спросил Аполосшка.  
— Не надо. Верю. — И повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял шутовину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрел болт делал, — сказал Аполосшка, глядя куда-то в угол. — А я два раза грел...

— Ишь ты... какой, — покосился на него Денис Иванович. — А колесо ошинуеть?

— Ошиную.

— И концы сварить?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай попробуем, — сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнечной работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

— Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покажи нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... кроме, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли, и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было подумал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан перенялась... Поросло семья...

## V

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Вспокоенные серпиловцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная все-

ночная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубашке... Перемаздался — ужасть... Денис Иванович куеть, а Квадрат качать... Денис Иванович Аполосшке: «А это сделаешь?» — «Сделаю». — «А это?» — «Сделаю»... Аполосшка не сдастся ни в какую. Все экзамены выдержал. Сколь всего понаковали — ужасть!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку. — Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец. — Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

## ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА

### I

В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не застыя солнца, белые округлые облака. Раз да или три над материковым обрывистым уберечьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлебных высот, от полужских тесовых деревьев неспешно наплывала на луга туча в серебряных оюемках. Вставала она высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и попохатывала громами и вдруг оглушительно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми струями ливня. Полоскались в веселом спором дожде притихшие лозняки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирала влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. А в заречье, куда сваливалась туча, уже висела над синими лесами оранжевая радуга. Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.

Лесные запахи мешались с медовыми и чайными запахами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе.

После таких дождей вдруг выметывала в пояс луговая овсяница, укрывала собой клевера, белые кашки, желтые подмаренники, выколашивалась над пестротравьем, и луга одевались нежной фиолетовой дымкой. И как только накатывал этот чуткий дымок на луга — днями быть сенокосу.

Первыми съезжались в пойму председатели и бригады — местные, из полужских колхозов, и дальние, с суходолов. Суходольские тоже имели здесь свой пай. Ходили по пояс в травах, осматривали деляны, ставили тычки.

Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли. Суходольские косари спускались со знойных бугров и междуречий будто на великое переселение: в пароконках — бочки с горючим, артельные казаны, связанные по ногам бараны, кули с мукой и картошкой, пуки деревянных граблей, старых и новых, белых, только что наструганных. Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязывались, тряслись в новых рубахах, хватаясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастию. Иные еще бодро сидели в передках, крутили концами вожжей над лошадыми, покрикивали с незлобной хрипотцой: «Но-о, окаянные! Шевелись!» — а сами все поглядывали из-под картузов на буйную травяную вольницу, и в просветленных лицах была заметна хозяйственная озабоченность и много-много раз пережитая радость предстоящей сенокосной страды, крестьянской работы — праздника.

Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в каштановом загаре, девчата, как одна, в косынках шалашиком. Сидели в больших сенных телегах, свесив босые ноги в бортовые решетки. Рыкала перебиваемая колесным перестуком гармошка, кто-то голосисто выкрикивал частушки, поло-скались над головами, мельтешили листвою натыканные торчком березовые ветки.

Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняка распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытанутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими

кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой нагоде багрово проступали старые солдатские отметины. Старики забредали недалеко, по коленки, и, не стыдясь сраму, в простой житейской потребности, ахая и придыхая, плескали на себя бегущую хрустальную теплынь. Потом долго намыливались, пуская шапки пены по струе, ласково разговаривая с пескάρями, что доверчиво тыкались в ноги. Мылись обстоятельно, на весь год, до следующего сенокоса, если еще приведетесь...

Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных лунках, засыпали себя каленым крупитчатым сахаром, а потом, серые, шершавые от песка, который, просыхая, осыпался с приятным зудом во всем теле, бежали в лозняки, трескали кустами, визжали, обстрекаясь о крапиву, и обедались еще не успевшей покраснеть дармовой ничейной ежевикой.

На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные, руки, сидели рядышком замужние бабы, отвыкшие за многие годы семейных забот от вольной речной воды, стыдясь при таком народе, при таком солнце оголиться, снять с себя одежду. Сидели, поглядывали с виноватыми улыбками на молодых беспечных девок, на Десну в слепящем блеске. Для них в кои-то разы посидеть вот так на берегу — и то радостно. Кто-нибудь из озорников подкрадывался по воде, выхватывал из-под берега и шмякал прямо в подол линючего, облезлого рака. Бабы взвизгивали, раскатывались по траве, подбирая ноги, начинали журить шалопута и вдруг, устыдясь своей праздности, вставали и шли к телегам искать какого-нибудь дела, без коего не могла баба чувствовать себя нормальным человеком ни в праздники, ни в похороны.

Под вечер, наполооскавшись в реке, тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый на свою семью, закидывали их тяжелой травой, оставляя узкий пчелиный лаз, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так по всему берегу на много верст возникали временные санные селища с теми же, по своим деревням, названиями: Меловое, Сухой Колодец, Польшовка...

Полужане, в отличие от суходольских, выезжали в луга налегке, без баранов и кулей муки — за всем этим ездили на колхозное подворье по ходу дела, однако, чтобы не тратить время, тоже жили балаганами, внапывали артельные котлы, и у них становища назывались не так сурово: Лужки, Доброводье, Поречное или какие-нибудь Лебяжьи Капустичи.

Две недели кипела в лугах жаркая неумная работа. Начинаясь она с рассветом. Все вокруг еще в призрачной дреме. Диковинными башнями громоздились на той стороне неясные лозняки и ветлы. Десна — под кузовом тумана, только слышно, как хрустально вызывали капли росы, роняемые с нависших кустов в чуткую воду, да на весь плес бормотали струи вокруг затонувшей коряги. Все мокро и серо от росы: мокры задранные оглобли телег, горбатые спины бочек с соляркой, мокры и седые балаганы, и на дне остывшего казана за ночь набежало чистое озерко росы над остатками пшенной каши.

Но вот зашебуршало в одном из шалашей, рука прокопала сенную затычку в лазе. Наружу, как большой неуклюжий жук, выползал дед Тимофей. Выпрямлялся, с крихтением отрывая от земли оплетенные веревками жил руки, да так и не выпрямившись до конца, оставался стоять на полусогнутых ногах, и синяя выпущенная рубаха пусто балахонилась спереди и натянута кургузилась сзади. Тимофей силпо откашливал вчерашнее кувево, долго и зло скреб под рубахой за поясом: приходил в себя. И, не ожив еще как следует, уже крутил утреннюю сигарку и приглядывался к косам, что свисали крючковатыми носами с ошкуренной слег. И на каждом кончике косы — по росяной капле.

Тимофей осматривал косы, выбирал ту, что притупилась, присаживался с ней на козелки с наковаленкой и прицеливался перевернутым молотком.

«Ди-у, ди-у, ди-у», — чисто, ясно, певуче разносилось над лугами, над сонным становищем. И тотчас на той стороне в лозняках отзывалось еще тоньше и певучей: «Ти-у, ти-у, ти-у»...

Шуршали сеном разбуженные балаганы, один за другим выползали багровые, заспанные, измятые будто в тяжком похмелье косари, вытряхали из рубах и всклооченных волос сенную труху, кричали от сырой прохлады, разминали намаянные, не отдохнувшие за ворованную ночь поясницы, бежали, пошатываясь, споласкиваться к реке. А Тимофей все туюкал по наковаленке, правил косы, и вот уже и ниже по течению, в суходольской бригаде, стозвались, затюкали по косе, и выше, в Меловом стане, и еще дальше... И так по всей реке, по всем ее извилам, близко и далеко, будто первые петухи, загомонили молотки и наковаленки — сливали зарю.

Выбиралась из своего шалашика Анфиска, с хрустом потягивалась, заламывая за голову бронзовые руки с острыми локотками, и тоже сбегала босиком к Десне, на ходу расстегивая

кофту и бросая ее на кусты. Забрела в реку и, зажав подол юбки между колен, шумно плескала дымящуюся парком воду на плечи в белых лямках ночной рубахи. Соломистая коса ее, свалившись со спины, писала концом по воде.

Косились мужики на Анфиску, цепляли озорными словами:

— Может, спину потерять?

Спугнутая Анфиска стыдливо опускала на воду юбку, выбиралась на сухое. Мужики провожали ее долгим прищуром, примечая в Анфискиной фигуре всякие соблазны, потом, и сами смущаясь, переглядывались, без слов понимая друг друга.

Росла Анфиска в Доброводье, никто как-то не примечал в ней ничего особенного: тощенькая, лупоглазая. Жила с матерью, ходила в плюшевом жакетике да парусиновых туфлишках. В ту пору саперная рота доставала со дна реки затопленные понтоны и всякий военный утиль. В Анфискиной избе остановился на постой саперный лейтенантик. Месяца через три рота снялась. Анфиска ходила как потерянная. А под Новый год у нее родился мальчонка. Бабы провожали ее долгим молчаливым взглядом, жалели промж собой в разговоре.

— Еще найдет себе... Молодая.

— Не больно теперь найдешь.

— Ей теперь один выход: уезжать, вербоваться куда...

Но Анфиска не уезжала, не вербовалась, а вот уже пятый год ходила в колхоз.

— Кончай курить! — по-армейски командовал бригадир и колотил обгорелой палкой по пустому гулкому казану.

Всхрапывал запущенный трактор, громко стрелял синим дымом. Мужики запрягали в косилки лошадей, разбিরали косы и уходили в луга по росе до завтрака. И уже при солнце шли ворошить сено бабы и девки. Над пестрыми косынками колыхались грабли, будто оленье рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая к своему валку, сновористо и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы. Откуда что бралось: держались прямошпинно, с неуловимым достоинством, грабельки в руках невесомы, знай себе мелькали обшорканными до костяного блеска зубьями. Не гнула, не старила бабу работа, а, наоборот, молодила: не дело делает — играет, кружево вяжет.

На стыке двух соседних лугов иногда оставались побалагурить.

— Эй, бабоньки! — кричали суходольские мужики. — Приходите вечером под копенку, потолкуем...



— Гляди, беседчики отыскались! — хохотали полужские бабы.

Один из косарей передавал косу товарищу, обеими руками покрепче натискивал кепку и бежал к бабам, по-медвежьи раскорячась и расставив руки-лапицы. Бабы взвизгивали и ощети́нивались граблями.

— Проваливай, проваливай, бобик непривязанный!

— А ну, девки, лови его, обормота. Ломай крапиву!

Бабы дружно кидались в контратаку. Косарь поворачивал и, перепрыгивая через два валка, улелепывал к своим.

Но все это так, между прочим. Сенокос же кипел своим чередом. День-деньской катал по лугу свои колеса-бублики белорус-тракторок, сновали, стрекоча, конные сенокосилки, полились травой и взблескивали, освобождаясь, конные грабли, и лошади ошалело мотали мордами и секли оводов хвостами. А уж по всяким неровностям, по старым окопам, по кустам да бочажинкам махали косами мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтоб обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари все ступали и ступали рядами, нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразнойбой. Ярко сверкнет сразу дюжина кос над травами, переступит сразу дюжина сапог, на одно мгновение задержатся, повиснут в воздухе косы и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут в зеленую глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами. И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным ирисом, желтой дугой промелькнувшим на пятке косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя, и тянет по всему порею сладким настоем увядания.

К полудню все живое собиралось к воде, поили и купали лошадей, пили и полоскались сами, смывая сеной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг артельных алюминиевых полумисков, хлебали огненный бараний кулеш. Ели по старинке, блюда очередь по кругу от старшего, подпирая донышки резных ложек ломтями хлеба, с хрустом заедая горячее хлебово зеленым луком. А насытившись, расползались по балаганам, где под темными сводами еще хранилась ночная прохлада. Но и тут, завидев, между прочим, как Анфиска на четвереньках, белея заголившимися круглыми икрами, заползла в низкий лаз своего шалашика, кто-нибудь непременно шутил:

— Фис, пусти на подчасика...

— Срамондолы! — корили бабы. — Мальчонку бы постеснялись. Мальчонка ведь при ней. А вы брешете языками.

За первой на деревне девкой так не следят, так не приглядываются, как за молодой вдвойной бабой. Пройдет она обыкновенно, как все, а уже кажется, что не идет, а играет бедрами. Девки купаются — ничего, а войдет она в воду — и опять-таки вроде как с умыслом. Ни пойти ей, ни прилечь без хитрого прищуря со стороны, тем более, что дело-то необычное: сенокос! Кругом воля-вольная, и в косарях бродила хмельная удаль, как ни при какой прочей работе. И хоть и в шутку задевали Анфиску, но и в пустых словах косарей — извечный тайный намек и мужицкая надежда на лотерейный греховный билетик...

Иногда в луга навевывался доброводенский председатель Павел Чепурин. Был он еще молодой, но уже успел навоеваться, схлопотать контузию и шрам от виска до подбородка, закончить политехнический институт, очутиться в деревне в числе тридцатитысячников, собранных по предприятиям, еще раз переучиться в Тимирязевке и, кроме боевых орденов, нахватать кучу выговоров за своеобразие и искажение спущенных сверху циркуляров. Но, несмотря на свою горячность, мужик он был толковый, по-солдатски простой, и все оживлялись, когда он появлялся в лугах на мотоцикле.

— Ну, как, хлопцы, дождя не будет? — кричал он еще издали, подвезжая.

Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить председательских папиросок.

— Да вроде не должно...

Чепурин соскакивал с мотоцикла и, нагнувшись и захватив пук подсохшего сена, нюхал, раздвигивал на былки и сорил себе на пыльные сапоги.

— Барана съели? — неожиданно спрашивал он, скосившись.

— Еще вчера, — сознавались косари.

— Даете...

— Дак сена какие... Невпроворот...

— Центнеров по двадцать возьем?

— И по тридцать будет... Как ни в какой год. Чай, сена!

— Чай-то чай, — почесал под кепкой один из косарей. — А не худо бы и чаюхи. За такие сена магарыч полагается.

— Будет, будет! — пообещал Чепурин, белозубо захохотал, покраснев шрамом, и прошел к трактору, прихрамывая и шумуя сапогами по стерне.

— С хорошим сеном вас, бабоньки! — крикнул он весело, проходя мимо ворошенных валков.

— И вас так же...

— Носы! Носы берегите! А то облупятся. Потом не забелишь.

Бабы, будто того и ждали, чтоб их задели, дружно посыпали в ответ:

— Мы и не беленьые сойдем!

— Все одно в печку глядецца, с горшками целовацца...

— Ты б свою-то на солнушко вытягнул. А то грабли по ней соскучились...

— Почеревок раструсила б... Небось ночью и не охватишь.

Бабы дружно расхохотались.

Чепурин и сам засмеялся и, смеясь, жмурился, крутил головой.

— Ну и язвы, ну и язвы, — бабы! Обхватывать-то некого, — сознался Чепурин. — Неделю как уехала.

— Опять небось по курортам?

— В Сочах, бабы, в Сочах...

Бабы зашикали, иные с издевкой, иные продолжая вышучивать:

— Принцесса, скажи на милость!

— В стенгазету ее, толстомясу!

— Что ж так: нами — дак командуешь, а на свою узды нету?

— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин. — Закатила мне домашнее бюро, села и уехала. Я, говорит, тебя все равно не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, свинарником пахнет... Вот как!

— Знамо, — встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая корявая старуха, говорившая басом. — Знамо: у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах.

Бабы завизжали, схватились за животы. Иные, что помирнее на язык, конфузливо ухмылялись: уж больно солонó сказанула бабка! Одними только глазами усмехнулась и Анфиска, застенчиво прикрыв рот уголком косынки.

Поймав на себе ее беглый смущенный взгляд, Чепурин и сам смутился и, переходя на дружески деловой тон, спросил:

— Ну, как Анфиса Васильевна, работается?

— Да, как... — Анфиска, почему-то густо покраснев, нагнула голову, затеребила граблями клочок сена, отпихивая и подгартывая его к себе. — Как всем...

Чепурин помолчал, уставившись на бегло перебирающие Анфискины грабельки с таким видом, будто наблюдал важную и неотложную работу. Молчал так, словно хотел еще что-то спросить у Анфиски. И она ждала, не поднимая головы. Но, так ничего и не спросив, Чепурин построжел лицом, сказал:

— Такие, значит, дела...

И, может быть, быстрее, чем хотел, заспешил к трактору.

Меж тем сено начали копнить, а на второй неделе сенокоса в каких-нибудь два-три дня все поречье на много десятков верст вверх и вниз по Десне дружно взбугрилось копнами, и не было такого места в лугах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копушку. И, закругляя дело, стали свалаживать их на места повыше, посуше и там выкладывать округлые приземистые стога. Под конец, свезя к стогам сено с балаганов, поллескавшись в Десне на прощанье, выпив за ранним ужином сельповской перцовки, поплясав или так просто поговорив на вольном досуге, начали сниматься и сами бригады. И вот уже и вовсе опустели берега. Остались только притоптанные поляны покинутых становищ, черные закопченные ямы из-под котлов да плетеные скелеты раскрытых балаганов. И еще остались стога... Неспешно тянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и чьи-то первые и не первые сердечные тайны, и хозяйственные надежды на сытый год, с молоком и хлебом, и общее удовлетворение завершенной работой. Глядели косари на стога, на долгие вечерние тени от них, часто перечеркнувшие дорогу, и сами удивлялись: сколько наворочали!

## II

Разорив свои шалаши, доброводенские косари тем же вечером, пока еще не село солнце, переправились на другой берег Десны разбирать процентные деляны.

Левая сторона реки густо кучерявилась ивняками. Тут и там над мелкоколесьем высоко и дремотно поднимались старые уремные ракиты с растресканной корой и темными округлыми кронами. Под ними все лето стояла сумеречная и влажная духота, гудело комарье и бушевал хмель. Местами лес разбегался, открывая большие и малые луговины. Эти-то опушковые покосы, разбросанные и затерянные в лозняковой чащобе и неудобные для бригадной уборки, Чепурин раздавал для подворной косьбы в счет заработанных санных процентов. Луговины побольше закреплялись за двумя-тремя дворами, на малых косили в одиночку. Обычно из года в год каждый косил на своем постоянном месте.

Анфиска тоже переправилась в попутной лодке, забитой бабами и мужиками.

— Косить али только поглядеть? — поинтересовался дед Тимофей, с кормы направлявший лодку.

— Что глядеть? Смахнет за одним разом, чтоб не бегаться, — ответила за Анфиску баба.

— И то дело, — кивнул Тимофей. — Мы так тоже, не загад, покосимся.

— Самое в пору, — отозвалась другая баба. — Ночь будет светлая.

— Витюньку бы на деревню отправила, — посоветовал Тимофей, глядя, как Анфиска, подхватив сына одной рукой поперек живота, а другой опираясь на косу, ступила за борт в мелкую воду.

— Нехай бегаёт: лето, — сказала баба.

— Замаялся небось мальчонка.

— А он, может, при ней охрану несёт.

— Какой он охранщик? — сказал Тимофей. — Комар носом проткнет.

— Какой-никакой, а все-таки живая душа при ней. От вашего брата шатуна... Который ему пошел-то?

— Пятый с зимы, — не оборачиваясь, доходя на бабье сердоболье, ответила Анфиска и, осыпая комья глины, грузно выбралась с Витькой под мышкой на твердый травяной берег. Она поставила сына на ноги, вскинула на плечо косу, подхватила узелок с едой и шагнула в кусты на пробитую тропку.

— Лодка будет у поваленной ракиты! — крикнул с воды Тимофей.

— Найду!

— Стучи, стучи косой почаще, давай знать!..

— Ладно!

— Ежели раньше нас управишься — покричишь!

Анфиска прошла берегом вверх по реке и в полуверсте вышла на свою деляну, одним краем примыкавшую к Десне. Анфиска не была здесь с прошлого лета и едва узнала свой покос. Поверх нетронутых трав, пестревших багряными головками клевера, синими колокольцами, лупастыми звездами ромашек, часто пророс морковник. Он цвел крупными белыми зонтиками, распустившимися на уровне Анфискиной груди, и ей казалось, будто поляна была занавешена сверху полупрозрачным тюлем.

— Вот мы и дома, — сказала Анфиска Витьке, устало и умиротворенно оглядывая покос, будто осматривала горницу, в которой так давно не была. Опушка и на самом деле походила на светлую и чисто прибранную комнату, окруженную стенами леса и с распахнутым окном на реку, в луговое раздолье. В окно это широко и спокойно лился свет низкого солнца, по-вечернему румянившего лес и поляну, тянуло теплой сыростью речных песков, запахом нагретых за день осок и свежесметанных стогов.

Витька тут же нырнул под зонты морковника и побежал под ними, раскинув руки и теребя ладонями дудки. И там, где он бежал, над его белесой, давно не стриженной головкой вздрагивали и покачивались кружевные шапки соцветий.

— Мам, гляди какие! — кричал он.

Анфиска несколькими взмахами подносила угол у самой реки, сгребла тяжелую, дурманно и знойно пахнущую траву, бросила поверх вороха телогрейку и позвала Витьку.

— Ну посиди тут.

— Не хочу сидеть. Побегу удочку срежу. Буду рыбу удить.

— Ну поуди, поуди.

Она присела на краю обрыва, свесила ноги над водой, уперлась руками в траву, откинулась на них и замерла так в минутном отдыхе. Прямо против нее над высоким берегом сидело багрово-дымное солнце. Матерый берег, до которого Десна доставала только в пору своего весеннего разгула, на самом верху, на увале, плоско и ослепительно желтел хлебами. Но скат его вместе с деревнями, садами и поперечными оврагами, был уже окутан вечерней дымкой, казался пустынным, отвесным и неприступной синей стеной громоздился над плоской равниной лугов. Сама же луга еще купались в последних лучах солнца. Бесчисленные стога нежно розовели подсвеченными маковками и тянули навстречу Анфиске по багрово-зеленой отаве длинные синие тени. В лугах было безлюдно и по-вечернему настороженно тихо. Только на самом увале высоко и густо вздымалась пыль над дорогой. Это суходольцы сразу несколькими обозами, поднявшись на урез, погнали лошадей рысью по ровному, спеша в дальние свои деревни, затерянные где-то за хлебами.

— Вот и покосы прошли, — вздохнула Анфиска, вглядываясь в клубы пыли над отъезжающими обозами. И ей стало почему-то грустно, что прошли покосы. Жаль было хорошей поры, которую она любила сизмальства. Чем больше выросла, тем нетерпеливее бежала в луга, полнясь смутным и радостным ожиданием чего-то... Но все обернулось обычной вдовьей работой, липучим и грубым вниманием мужичья, замкнутым одиночеством, о котором она никому не смела и не могла сказать. Теперь она была даже рада, что поблизости нет никаких делян и что она наконец-то одна. И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето...

Вздохнув, она сняла платье, ночную рубаху, подстелила под себя белье и посидела так, остывая, неспешно, задумчиво оглядывая себя, смахивая с шеи и поперек перерезанных поло-

ской загара груди сennую труху. Мягкое тепло вечернего солнца тронуло и пригрело ее живот и колени. Из лозняков выпорхнула и закачалась перед Анфиской на торчавшей из воды камышинке желтая плиска. Перечеркивая собою красное солнце, она раскачивалась, вздрагивая узким хвостом и с птичьей откровенностью разглядывала раздетую Анфиску.

— Сарафан сняла? Сарафан сняла? — требовательно спрашивала она.

— Кыш! — махнула Анфиска и плотно сдвинула колени.

В кустах зашебуршал Витька, радостно окликнул:

— Мам, смотри, какая удочка.

— Ага... хорошая.

— Мам, а что это у тебя на руке синее?

Витька притронулся пальцем к Анфискиному предплечью.

Анфиска закрыла покосный балагурный сияк ладонью и небрежно сказала:

— Поди, Витя, побегай...

Витька сострадательно уставился на Анфискину ладонь, прикрывавшую сияк.

— Поуди, поуди, Витя. Вон какая хорошая удочка.

Витька повернулся и запрыгал по берегу, вспархивая выгорелыми волосенками при каждом поскоке.

Анфиска поглядела вслед сыну, глаза ее заплыли слезой:

— Глупый...

И, оттолкнувшись пятками о край обрыва, она сильным броском бухнулась в розовато-замирившую Десну.

Уже в сумерках запалили костерок, ели поджаренное на прутиках сало, крутые яйца, прикусывали перышками лука. За темными кустами долго и светло разгоралась луна. Они ели, тихо переговариваясь, слушая, как где-то в лесу, на других делянках гомонили бабы, звякали о косы оселки, а на той стороне в лугах все ржала и ржала беспокойно лошадь, глухо и тяжело стуча по земле копытами.

— Мам, чегой-то она?

— Так... спутанная.

Поиграв в засиневшем небе хворостинкой с угольком на конце, Витька угомонился, прилег на охапку травы. Анфиска прикрыла его телогрейкой.

— Спи, горяшко мое, спи, мужичок мой...

Витька пошевелился, сворачиваясь калачиком, угреваясь, и затих.

Анфиска взяла косу, подошла к краю поляны. Луна наконец выпуталась из зарослей — большая, чиста и ясная, кусты под ней заблестели влажными листьями. Деляна просияла,

будто враз зажглись, засветились подвешенные над травами люстры морковника. На зонтах цветов тончайшим хрусталем заблестела роса. И сразу, как только взошла луна, где-то рядом отсырело заскрипел, забегал под серебристой и невесомой сеткой соцветий дергач, дружно брызнули окрестные кусты стрекучим гомоном камышевок.

— Светло-то как! — подивилась Анфиска.

Стоя на берегу, у края деляны, она заворотно глядела на медлительную, переспело истекающую медовым светом луну. Потом, все еще прислушиваясь к ликующей ночи, к радостно-грустному чувству в самой себе, неслышно, как бы боясь что-то потревожить, провела косой по крайним травмам деляны.

### III

Скоро уже, подчиняясь затягивающему азарту работы, Анфиска косила широко и жадно. Лишь изредка она распрямлялась, смахивала со лба волосы и поглядывала на скошенные валки. Неспешная луна собиралась бродить в небе до самого рассвета, и Анфиска прикидывала, что к тому времени должна управиться. Иногда, давая себе минутный роздых, она брала оселок и несколькими ударами поправляла жало косы. И тотчас на ближней деляне, за темными шапками раkit, подавала голос Тимофеева коса: мол, коси, коси, девка, мы тут тоже косим. За ней откликнулась другая, третья, и начинало тонко, загадочно звенеть по всему ночному лесу: ко-сим, ко-сим.

И вот уже и жаль Анфиске, что она одна, а не на артельной деляне, где теперь потрескивает костер под старой раkitой, сложена в общую кучу разная еда, закипает черный покосный чайник, набитый смородиновым листом. И нет-нет да кто-нибудь, на время остановив косу, взболтнет что-то веселое... А есть, которые вдвоем, с мужем...

Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем... Костер палить было бы некогда, да и балагурить незачем... Работали бы молча. А тоже хорошо...

Прислушиваясь к перезвону на ближних и дальних делянках, она уловила ворчливый гул мотоцикла на лесной дороге. Дорога эта, по которой свозили в деревню сено, петляла, восьмерила, давала ответвления по всей уреме и где-то недалеко обегала Анфискин покос. Свое сено она переправляла сразу на тот берег, так было удобней, и на ее маленькую деляну не было пробито проезда. Мотоцикл протарахтел мимо, потом внезапно заглох, долго молчал, снова застрекотал, теперь уже возвращаясь



обратно. В кустах, против ее покоса, пробился раздробленный листовой свет фары.

«Рыболовы, что ли, — подумала Анфиска. — Мало им места на Десне».

Хлестая ветками кустов, мотоцикл продралясь, вынырнул на поляну, полоснул светом, но тут же умолк и погасил фару.

Анфиска опустила косу, выжидая.

Из тени кустов вышел рослый человек.

По белой фуражке она узнала Чепурина. Прямо по некошеному он подошел к ней.

Анфиска замерла.

— А я слышу: кто-то косой звякает. Дай, думаю, взгляну, — сказал он. — Едва проехал...

Чепурин стоял против света, и она, мельком взглядывая, не могла разглядеть его лица, но по голосу улавливала какую-то странную растерянность и возбужденность. Видно, ему и самому было неловко оттого, что он оказался на этой деляне, неловко было и объяснять, зачем он здесь.

— Испугалась?

— Думала, рыболовы... — проговорила она.

— А я в районе был... Только что отсюда, — сказал Чепурин и зачем-то снял фуражку. — Заехал поглядеть, как народ полуношничает...

— Да вот косим... — сказала Анфиска. Растерянно перекрещенными на груди руками, оставшимися прижатыми так вместе с ручной косы с самого момента появления Чепурина, она чувствовала, как часто колотилось ее сердце.

Чепурин обвел глазами поляну:

— Твой, значит, пай... Морковки много. Сорное сено будет.

— И на том спасибо, — выговорила Анфиска чужими, одеревеневшими губами.

Чепурин помолчал, повертел в руках фуражку.

— Помочь, что ли? — сказал он, помолчав.

— Я сама, — тихо воспротивилась Анфиска.

— Сама-то не успеешь.

Он взялся за ручку косы, легонько потянул к себе. Анфиска не отпустила.

— Спешить некуда, — сказала она. — Ночь еще впереди.

— Скоро темно станет.

— Луна только взшла. Вон какая!

— Погаснет луна-то твоя... Сегодня затмение будет...

— Не надо, Павел Семенович, — потупилась Анфиска. — Я сама управлюсь.

— Ну как знаешь. — Чепурин посмотрел на луну, на морковник. — Ты не подумай... Я ведь по-хорошему,

Он достал папироску, пыхнул спичкой, Анфиска стояла, выжидая. В ее как-то сразу поменевшей ростом фигуре было что-то неприкаянное и жалкое.

Долго и напряженно молчали. В мокрых кустах верещали камышевки. Вдруг Чепурин порывисто отбросил окурок и крупными шагами пошел в дальний угол деляны к мотоциклу. Но он не уехал, как подумала Анфиска, а, к ее удивлению, вытащил из коляски разобранную косу, сладил ее и молча принялся косить прямо от колес мотоцикла. Анфиска слышала, как заходила его коса с сердитым и протяжным шиканьем.

Анфиска растерялась. Первой ее мыслью было разбудить Витьку. Но Витька сладко поспывал, и она, поправив на нем одежду, отошла, остановилась у обрыва, смятенно уставившись на светлую гладь реки. Потом тихо, будто крадучись, прошла к незаконченному прокоосу. Она начала косить, все время сбиваясь, путаясь в траве, мучительно и обостренно прислушиваясь к размашистому вжиканью в дальнем углу деляны.

Луна, уже высоко поднявшаяся над лесом, заметно поубавилась, уплотнилась, но все еще была диковинно велика. Анфиска косила против луны, Чепурин двигался от луны к ней навстречу. Работали молча, затаившись, как два сапера по обе стороны фронта, пробивающие проход в проволоочном заграждении. Нетронутая стена трав, разделявшая их, уменьшалась и редела. Впереди, белея, покачивалась фуражка Чепурина, широко и порывисто поворачивались его плечи, и то и дело над дудником взмелькивала ручка его косы. Она видела, как, вздрогнув, широкими полукружьями рушились и исчезали перед ним хрустальные люстры морковника.

Когда между ними осталась тонкая, на дватри взмаха стенка из высоких, пронизанных светом стеблей, Анфиска остановилась. Остановился и он, шумно и прерывисто дыша.

Тяготясь этой неловкой паузой, страшась — не его, Чепурина, а самое себя, своего напряженного обессиливающего оцепенения, она, ни разу не взглянув на него, не поднимая головы, повернулась и пошла, почти побежала к берегу, к началу покоса.

— Анфис... — позвал он.

Она слышала, как он смахнул остатки травы, разделявшие их, и торопливо пошел следом.

— Что ж мы... так и будем разбегаться по углам? Глупо все как-то...

В голосе его звучала все та же неловкость и виноватость за то, что он здесь и вот так с нею...

Анфиска только еще больше нагнула голову, вышла к берегу и сразу начала новый прогон.

— Давай хоть носить рядом... — буркнул Чепурин.

Она успела уже отойти немного, когда Чепурин начал косить с левой стороны. Чувствуя за спиной мерные переступы его сапог, резкое свистящее позванивание, Анфиска, закусив губы, косила с оцепенелым упорством, как будто все дело было в том, чтобы не дать себя догнать. На каждые два его взмаха она отвечала тремя. Босые ноги горели от колючей стерни и спиритово-жгучей росы, но еще больше горело ее лицо.

«Что ж это...» — спрашивала она самое себя.

Вспомнилось, как весной он подвозил ее со станции. Она тогда, перед половодьем, накупила много хлеба, несла тяжело в двух мешках, связанных вместе. Он нагнал ее на своем «газике», узнал, остановился, забрал мешки и посадил в машину. Дорога была разбитая, с жидкой снежной кашей в глубоких колеях, с частыми лымами по низинам, машину бросало, заваливало с боку на бок. Чепурин напряженно рулил, и, может быть, потому лишь изредка с ней заговаривал, отрывочно спрашивая о самом обыденном: как живет, как мать, сынишка... В шоферское зеркальце она мельком видела его худое, ответренное лицо с багровым швом во всю плохо выбритую щеку, видела напряженно-сосредоточенные жидко-зеленые глаза и, стесняясь своих чувалов, набитых городскими буханками, грязных галос на валенках, настороженно цепenea от новых его вопросов односложно отвечала: «Живу помаленьку», «Мать ничего», «Сын уже большой».

И когда потом приходилось встречаться с Чепуриным — на колхозном дворе, на улице — все так же терялась перед ним, и особенно почему-то в тот раз, на покосе, когда он пытался заговорить с ней.

Ни разу не оглянувшись, она косила все с тем же упорством и уже не чувствовала рук, не ощущала в онемевших пальцах косы и только упрямо, через силу водила плечами. Белые шапки морковника, взблескивая оброненной росой, казалась, сами собой гасли перед нею, будто слабые огоньки от ветра.

На середине прогона она услышала, как Чепурин остановился. Чуть обернувшись, она увидела, что он скинул пиджак, отшвырнул на стерню и, оставшись в одной белой рубашке, азартно поплевал на руки.

Но и у нее больше сил не оставалось.

«Сейчас упаду», — задыхаясь и слепея от напряжения, думала Анфиска.

Она уже не слышала ни его, ни своей косы, не слышала цикадного стрекота камышевок, не замечала, как все бегал, все скрипел на остатке быстро таявшей луговины дергач — невольный судья этой борьбы двух людей на ночном покосе.

— Тыфу! Заморила! — сплюнул наконец Чепурин. — Анфис... Да погоди ж ты...

Он постоял, глядя вслед продолжавшей косить Анфиске, и вдруг, отбросив косу, в два прыжка нагнал, обнял, больно сдавив плечи, рывком повернул к себе и, сам задыхаясь, прижал к груди.

— Вот... Чтоб знала...

Потная, горячая, не видящая ничего, с гулким стуком в висках, она затихла в крепком захвате его рук, провалившись в какое-то обжигающее небытие.

— Не сердись только... не гони, — проговорил он.

Луна, поднявшись в свой зенит, накалилась до слепящей голубизны, небо вокруг раздвинулось, нежно просветлело и проливалось теперь на лес, на поляну, на белую кипень цветов трепетно-дымным голубым светопадом. Свет падал на Анфискино лицо, казавшееся бледным и осунувшимся. Под полузапахнутыми ресницами темно и влажно взблескивали глаза.

— Устала я, — не открывая век, прошептала Анфиска, почувствовав себя вдруг окончательно надломленной и обессиленной не только от напряженной косьбы, но и от всех этих трудных и горьких лет вдовьего одиночества.

Чепурин, должно быть, понял в ней это, бережно взял в ладони ее голову, притянул и крепко и долго поцеловал в сухие, безответные губы.

Анфиска затаенно молчала, приходя в себя, прислушиваясь к сильным толчкам его сердца под влажной от пота рубашкой.

— Запалила ты меня, — сказал Чепурин.

— Я сама чуть не упала.

— Зачем же так.

— Не знаю...

— Я ведь по-хорошему...

Анфиска не ответила.

Он слегка, будто стесняясь этого движения, одними только кончиками пальцев потрогал ее волосы.

— Давай докосим? — сказал Чепурин.

Постояв еще, помедлив, она наконец молча шевельнула плечами, прося ее освободить. Чепурин разжал руки, она устало нагнулась, подняла косу.

— Ты посиди... Не надо, — сказал Чепурин.

— Нет... Я тоже...

Остаток поляны они докашивали рядом.

Чепурин, без фуражки, с закатанными рукавами белой рубахи, косил размашисто, низко пуская косу, чуть пригибая колени. Встречный свет заливал его плечи, дымился в светлых спутанных волосах. Тяжелые стебли дудника, мелтеша белыми шапками, уносились в сторону и ложились рядом с Анфиской. Валок истекал сырым травяным запахом. Время от времени Чепурин приостанавливался и, шумно отдуваясь, улыбаясь запаленно-открытым ртом, подбодрял:

— Идет дело?

Анфиска молча кивала.

— Ну давай... Осталось немножко.

За согласной работой как-то сама собой прошла Анфискина усталость, руки окрепли, и она, поглядывая на Чепурина, на его неторопливые расчетливые движения, чувствуя, что ему нравится косить, и сама начинала полнитьсь тихой и умиротворенной радостью.

— У тебя есть оселок? — спросил он.

— Где-то на берегу.

— Надо поправить косы. Мы их совсем загнали об эту чертову морковку. Откуда ее столькоросло?

Чепурин говорил так, будто ничего между ними и не было, будто они еще с вечера пришли сюда, как другие, как все, затем только, чтобы запастись на зиму сена.

Он нашел на обрыве оселок и стал править косы — ее и свою. И сразу за лозняками тонко звякнуло ответно. И зазвенело, затюкало справа, слева, близко и далеко — по всему лунному лесу.

— Народу-то сколько! — удивился Чепурин.

Ликующе-голубой свет заливал поляну. Была видна каждая травинка, каждый листок, и все везде что-то сверкало и блестело. Светлая гладь реки за краем обрыва кольчужно серебрилась от кругов разыгравшейся рыбы. Бледно проступили песчаные косы на той стороне, и в песках блестели и переливались голубым огнем выброшенные створки ракушек. Серебрились обрызганные росой осоки под тем берегом, легким дымом серебрилась подстриженная отава, серебрилась шиферная крыша коровника на гребне далекого уреза и призрачными шатрами проступали бесчисленные стога в луговом заречье.

Простоволосо-растрепанный, в расстегнутой на груди рубахе, Чепурин стоял с косой и оселком в руке, чуть наклонив голову, и, полный мальчишеского внимания и интереса, слушал, как перекликались косы на лесных делянках.

Еще вчера этот человек расчетливо считал свои часы и минуты, куда-то уезжал, приезжал, командовал и распоряжался, звонил по

телефону каким-то далеким и высоким начальникам и сам был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской беспокойной жизнью. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сызмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь.

— Как называют! — сказал он, радуясь. — Послушай только, что делается! По всей Десне.

Анфиска смотрела на Чепурина, слушала и ничего не слышала, кроме стука своего радостно-смятенного сердца.

## IV

Перемешанные с травой стебли морковника пружинисто топорщились, валки высоко бугрились, белели зонтиками, и вся поляна казалась прибойно-полосатой. Терпко, дурманно пахло каратиновым настоем, напитавшим росу и ночной воздух.

Они лежали на ворохе скошенной травы, влажной и теплой, нагретой их телами. Лежали на самом берегу, головой к реке, умиротворенные доверием друг к другу.

— Есть хочешь?

— Чтой-то не хочется.

— Я захватил с собой. В мотоцикле. Поешь.

— Не надо. Не вставай...

Чепурин лежал навзничь, подложив под голову правую руку, она — пристроилась на его плече.

— Не хочется, чтоб ты уходил... — Анфиска задержала его руку на своем плече и сама подвинулась теснее. — Смотри, какая луна сегодня! Я даже чувствую ее сквозь веки. Закрой глаза... Ты правду говорил про затмение?

— По радио передавали.

-- А я думала — нарочно...

Луна бесстрашно, светло и празднично шла навстречу неведомому, поджидавшему ее в какой-то точке кропотлого ночного неба. Казалось, уже сам воздух начинал тихо и напряженно вызванивать от ее неистового сияния.

— Я хоть наглажусь на нее сегодня... Не помню, когда и глядела так...

— Это верно, — кивнул Чепурин. — Головы поднять некогда.

Анфиска, задумавшись, долго вглядывалась в голубой диск.

— Какая она чистая... Как девушка... Я даже глаза различаю. Слово бы улыбается.

- Это горы.
- Нет, глаза.
- Кратеры всякие.
- Тебе — кратеры, а мне — глаза.

Чепурин усмехнулся Анфискиному шутливому упрямству.

— Вот песни по радио поют, — вздохнула Анфиска. — Про свидание на луне. Глупости какие, господа! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему.

Тяжелый рогатый жук низко пролетел над головами и плюхнулся в скошенную траву. Должно быть, летел из заречья. Жук завозился, рыкая крыльями в стеблях, будто запускать заглохший мотор. Наконец взлетел и, довольный, басовито загудел. На светлом небе были видны его черные вскинутые надкрылья. Анфиска проводила его взглядом, прислушиваясь.

— Разве есть где лучше? Птиц-то сколько! Каждый куст стрекочет.

- Да, ночь хороша! Теплынь. Самое лето.
- У нас по Десне их сверчками зовут.
- Какие они?
- Разве не видел? Серенькие с желтиной.
- Как-то не обратил внимания.
- Хвост округло подстрижен. У плиски хвост ровный, у зяблика, у чечевички — с выемкой. А у этих — будто лопаточка для мороженого. И голос: не поют, а сверчат. Потому и сверчки.

— Похоже... А вон то кто? Осторожно так...

- Не узнал? Соловей!
- Ну какой же соловей? Соловья-то я знаю.
- Соловей и есть.
- Коротко очень.
- Молоденький еще... Старые теперь уж не поют. Лето переломилось. А этот только пробует голос. Первая его песня. Будто в молодой орешек посвистывает... Слышишь?.. Щелкнет и сам себя слушает. Мол, ладно ли получилось? А потом надолго и замолчит: засовестится. Молоденький...

— Берендеевна! — усмехнулся Чепурин и ласково, уважительно взглянул на Анфиску.

— В детстве из лесов-лугов не вылазили. В деревне — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано, и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... А вот то дергач... Послушай, как он...

- Этого скрипуна я давно приметил.
- Всю ночь так.
- Уж больно музыка у него некрасивая. Будто грешком по сухой щепке.
- Это нам только. А ему все равно весело. Ночь-то какая! Диво! Все, как умеет, ра-

дуются... Я тоже, будь моя воля, птицею стала бы... Даже не задумалась — поменялась бы...

— Чудачка!

— Хорошо птицею. Лети куда хочешь. Воля!

- Куда же ты?
- Мало ли куда...

Раздумывая, куда бы она полетела, Анфиска вспомнила, как еще подростком несколько раз бегала на станцию. Мать завертывала в капустные листья обваренного куренка, клала на дно корзины десяток-другой яиц, свежих огурцов, и Анфиска, шлепая по прохладной утренней пыли, бежала средь хлебов к паровозным дымам на горизонте. Ничего не волновало ее так сладко и празднично, как добела накатанные рельсы и длинные, зовущие паровозные гудки.

Там, на станции, поставив у ног корзину где-нибудь возле газетного киоска, она подолгу заглядывалась на поезда: дивилась широким, в одно сплошное стекло, вагонным окнам, белым накрахмаленным занавескам, цветам в глиняных горшках на столиках и по всему этому силилась представить, как должно быть хорошо и необыкновенно ехать в таком вагоне. Вполуслух, разлизав губы, она читала надписи «Москва — Одесса», «Москва — София» и, прочитав, с ревнивой завистью следила за бойкими проводницами в синих беретах, которые, убрав подножки и став в вагонных дверях, вот так просто, с какой-то легкой беспечностью ехали в далекие неведомые города, равнодушно поглядывая на все, что оставалось здесь, на перроне, на все эти киоски, багажные тележки, на нее, Анфиску, зазевавшуюся босоногую девчонку из безвестного им села.

Анфиска забывала про свою распродажу, пока какой-нибудь дотошный пассажир, заглянув в корзину, не обнаруживал торчащие цыплячьи лапки. Набегали другие, копались в корзине, как в своей собственной, wygrебали яйца, огурцы, совали деньги. Она машинально прятала их в карман, не сосчитывая, стесняясь своего нехитрого товара, и приходила в себя лишь когда появлялся милиционер и сонно, размеренно говорил: «Давай, давай отсюда... Не положено».

— Посмотрела бы, куда наша Десна течет... — вслух сказала Анфиска. — До самого моря слетала бы... Живешь! Вот тебе изба, печь, вот грабли или тяпка... Зима — лето, зима — лето...

Анфиска робко улынулась, будто виня за свое такое желание — полететь птицей.

— Правда, Паша... Бабе всего только и солнышко отпущено, что в детстве. Девчонкой прыгаешь, ничего не знаешь, думаешь: как все.



А вырастешь — нажалеешься, что баба... Конечно, не у каждой так.

И опять она вспомнила поезда. Почему-то в них всегда много красивых женщин. Некоторые уже пожилые, с сединой в висках, а все равно красивые. Не лицом даже, а чем-то таким, чего Анфиска никак не могла понять. Вольностью своей, что ли? Они красиво прогуливались вдоль вагонов, красиво ели мороженое, красиво смеялись и разговаривали с мужчинами, тоже красивыми, породистыми. Платформа была единственным местом, где Анфиска прикасалась к этому шумному веселому миру, существовавшему сам по себе в неведомом далеке от ее, Анфискиной, жизни.

— Есть — на всю жизнь баба, а есть — женщины, — сказала Анфиска, прервав свои размышления. — Кому как выпадет.

— А ты тоже красивая. — Чепурин за плечо качнул Анфиску к себе. — Смотрел я, как сено ворошила: красавица!

— Какая, Паша, красота, если по три гектара свеклы на брата... Ногти позаломились...

Небо все расцвело, все голубело в том месте, где проходила высокая и ясная луна. Оставив ее сиять одну, звезды далеко вокруг отступили, истаяли и только понизу, над самыми деревьями, где было темнее, проглядывали редко и несмело, будто боялись помешать праздничному шествию луны. Может быть, она разгоралась бы и дальше, но как раз в это время что-то притронулось к ее левому боку, чуть надавило, оставив едва заметную вмятину.

— Смотри, Паша!

— Вижу.

Они притихли, вглядываясь.

Казалось, все оставалось прежним: и мерцающая бездонность неба, и сама луна светила все с той же беспечной ясностью; но это безмолвное, вкрадчивое что-то прикосновение к луне сразу же было замечено и лесом и лугами.

Коростель оборвал свой скрип и насторожился. Скрипнул еще раз неуверенно, затих и не подал больше голоса. Поредел и рассыпался хор камышевок.

Наступила тревожно настороженная тишина.

Стало слышно, как в тени обрыва, омывая камыши, дремавшие у берега взбродку, всплескивалась вода. Казалось, Десна бежала у самого изголовья, и, чтобы достать до реки, стоило только протянуть руку.

— Давай Витьку разбудим, — сказал Чепурин, невольно переходя на шепот.

— Зачем?

— Поглядят на затмение.

— Мал еще... Что он понимает?

Чепурин покосился на часы,

— Сколько? — спросила Анфиска.

— Четверть второго.

— Тихо как стало.

— Ага... Будто отрезало...

— Луна, как откусанное яблоко... Совсем закроет?

— Говорили — совсем...

— А мне почему-то жалко ее...

— Ну что ты...

— Правда. Даже как-то не по себе.

— Это всего только тень.

— Знаю, что тень. И в школе учила — тень. А тревожно. Тебе разве нет?

— Непривычно как-то.

— Вот и птицы затаились. Тоже понижают...

Подчиняясь нахлынувшей тишине, они и сами притихли и долго лежали молча, наблюдая затмение.

На реке стукнуло весло. Высокий бабий голос позвал:

— Анфи-са!

По лесу изломанно прокатилось: «И-са, и-са», — и, затихая, эхо потерялось в лугах, среди стогов.

— Тебя...

— Домой клещут. У них там лодка.

— А-у, Фиска-а! Поехали-и!

В ответ в лугах залиристо заржала лошадь.

— Затмение началось! — кричали с берега бабы. — Где ты там?

Кто-то постучал в косу, потом еще покричали и стихли.

Было далеко слышать, как время от времени переправлялись лодки: стучали о борта весла, позвякивали причальные цепи, перекликались бабы. И еще долго потом доносились с той стороны лугов постепенно затухающие голоса.

— Уехали, — сказал Чепурин.

— Пусть... — твердо проговорила Анфиска.

Из вороха травы, принятого посередине и закрывшего краями лес, им было видно одно только небо и круг луны, на который слева все напоздало и напоздало что-то зловеще-неотвратимое, что принято просто называть тенью.

Чепурин и Анфиска вдруг почувствовали себя затерянными в обезлюдевшем, притихшем лесу.

— Глухо-то как...

— Боишься?

— Нет... — И, помолчав, добавила: — С тобой не страшно.

Они глядели на медленно угасающую луну, и Анфиска вспоминала, как все эти годы думала об этом человеке, в одиноких невысказанных мечтах примеряла его к своей жизни. Вспоминалось, как однажды увидела на дороге

мотоцикл. Ехали незнакомые мужчина и женщина, усталые, в запыленных комбинезонах. Он — за рулем, а она — сзади: обхватила его за бока, прижалась щекой к спине — от ветра, и ехали. Долго она смотрела им вслед, пока не скрылись за горюшкой, а сама все прикидывала, как бы она тоже вот так поехала... Хоть на край света... И чтоб тоже был ветер... А то раз привезли в сельпо пододеяльники. Хорошие такие, с русской мережкой по углам. Смотрела, как люди брали на приданое девкам-невестам, и завидовала... И опять прикидывала, как бы она застелила все новое... И хотя знала: ни к чему это, никогда тому не бывать, а все-таки приходили такие мысли, все примеряла его к себе... И сегодня тоже: косила, а его рядом с собой ставила... Только когда и вправду приехал — испугалась. Ждала, ждала этого часу, а самой жутко стало... И жутко и хмельно...

Вспоминая все это, украдкой разглядывая его лицо при лунном свете, Анфиска бережно провела пальцем по шраму на щеке Чепурина.

— Чем это тебя, Паша?

— Осколком.

— Будто ножом.

— Это меня напоследок в Берлине угостили гранатой с чердака.

От темного шрама, затянутого гладкой и бесчувственной кожей, Анфиска провела пальцем по светлой живой щетине на подбородке, попробовала расправить лучики морщин на виске. С тихой задумчивостью разглядывала она залитое лунным светом лицо Чепурина — суровое и грубое вблизи, с крупными сухими губами, с жесткими кустиками выгоревших бровей. Двигая кадыком, он заглатывал дым папиросы и неторопливо выпускал синий жгут, целясь им в комаров. Анфиска удивлялась, как много он набирал дыма, который долго еще потом, при каждом выдохе, курился из ноздрей постепенно затухающими струйками. От лица Чепурина веяло спокойной надежностью, и, может быть, оттого оно казалось Анфиске даже красивым, а больше всего — понятным: в нем ничего не настораживало и не отпугивало.

— Смотрю я на тебя: вот и городской, а какой-то ты наш... — тихо проговорила Анфиска. — Будто в деревне вырос.

Он сузил глаза, жесткие кустики бровей обрывисто нависли над переносьем. Долго лежал так, сощурился, остро глядяваясь в луну, а может быть, и во что-то свое, в самом себе.

— Вот вспоминаю свое мальчишество, — сказал он задумчиво. — Кажется, оно было страшно давно. Как до рождества Христова.

— А я будто вчера девчонкой бегала, — сказала Анфиска. — Даже платья, какие носила, помню.

— Тебе повезло. Все-таки цельным куском живешь. А я другой раз силую представить что-нибудь из тех лет, закрою глаза и вижу совсем не то... Какие-то балки огненные рушатся... Люди бегут... Черные против огня... Бегут и падают...

Анфиска зябко поежилась.

— Насмотрелся ты за войну. Оттого и так...

— Может быть... Никак я не пробьюсь сквозь все это в те свои годы... Где-то они остались по другую сторону... Как за лесным пожаром. И не связываются с теперешними.

— Сколько тебе тогда было?

— Семнадцать.

— Молоденький совсем.

— Из девятого класса пошел. Перевязал веревочкой свои физики-химии, недоделанные планы на чердаке спрятал и — потопал... Думал, приду — доделаю... Я даже девчатам писем не писал: не успел завести. Все планы клеил.

Чепурин потянул из вороха травинку, пожевал, поиграл ею в губах, продолжая задумчиво и пристально глядяваться в ночное небо.

— И все это куда-то ушло... Самый лучший кусок жизни. Будто и не я тогда был на свете... Так вот и живу какой-то укороченный.

— Может, от ранения это?

— Может, и отшибло... Такое теперь ощущение, словно я впервые появился на свет не в родильном доме, как это положено, а в армейском госпитале. Вынырнул из хлороформа, будто из небытия и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко всему нужно было привыкать заново...

...Помню, первое, что я тогда увидел после операции, — были стенные часы. Я долго смотрел на маятник. А он не спеша так раскачивается. Как, бывало, дома... И тишина... Еще недавно все грохотало, а тут тихо... По этому маятнику и догадался, что живу...

— А еще помню, в палату вошла медсестра, — по губам Чепурина скользнула грустная улыбка. — Вот говорят: не бывает любви с первого взгляда... Она вошла такая белая, чистая. Я смотрел на нее, как на чудо... Подсела ко мне и говорит: «Ну вот, все в порядке. Теперь будете жить». А я даже не словам, а одному только голосу ее обрадовался.

— Это уже после Берлина?

— Берлин еще брали. На тумбочке вода в графине все время вздрагивала... Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. Я лежал весь в бинтах, и голова и грудь, только ежик между бинтов торчал на макушке.

— Больно, наверно, было?

— Тогда еще нет... Она сунула мне градусник под шею. Сказала, чтобы прижал его подбородком. Я наклонил голову и увидел близко перед собой ее руку... Не знаю, что на меня тогда нашло. Я дотянулся до ее пальцев губами и поцеловал... Они были прохладные, чистые... И душистым мылом пахли... Она не отдернула руку, а только потрепала мой ежик. Я никогда не был такой счастливый, веришь?

— Понимаю, Паша, — кивнула Анфиска.

— Может быть, потому, что для меня уже кончилась война. А тут еще весна за окном: солнце, небо синее, деревья зазеленели... А может, и оттого, что из детства вынырнул прямо взрослым парнем. Минувя юность. Она была для меня каким-то открытием. Во мне впервые проснулось что-то радостное, благодарное к этой белой девушке.

— Жалко, что не я была это, — прошептала Анфиска. — Я так бы и сидела около тебя... Ты правда ее любил?

— В тот день она раза три ко мне подходила... А на другое утро меня эвакуировали.

— Так сразу? А она?

— А что она? Для нее я был просто раненый. Сотый или тысячный. Я даже имени ее не знал. Да это было и не важно. Я радовался одному тому, что она есть, кроме огня, трупов, вонючих портянок...

На поляну неслышно выметнулась летучая мышь, стремительно, изломанно заметалась над валками. Несколько раз она совсем близко пронеслась над Чепуриным. Потом так же неслышно пропала — загадочное существо, своим появлением всегда странно и неприятно упрекающее человека в бренности его страстей. Анфиска поскала мышь в лунном небе, но не нашла и тихо спросила:

— А что потом было? Расскажи, Паша. Я ведь только и знаю про тебя, что ты наш председатель.

— Потом? — Чепурин потянулся к пачке «Беломора», лежавшей рядом с ним на траве, раскурил папиросу и выпустил дымный бублик, целая им в луну. — Потом валялся в госпитале. В Рязани. Война давно кончилась. На дворе июль, отцвели госпитальные липы. Многие раненые разъезжались по домам. Долеживали самые бедолаги — обгорелые, ампутированные. В палатах пусто, нудно... Я тоже стал проситься на выписку. Правда, раны еще не затянулись, но меня не стали задерживать: госпиталь тоже спешил сворачиваться. Направили меня лечиться по месту жительства. Есть такой городишко Борисоглебск, может, слыхала?

— Нет...

— За Воронежем... Пришкондыбал домой. Костыли, рука на перевязи. Мать что-то стирала. Постарела, будто прошло десять лет. Кинулась ко мне красными распаренными руками. Обступили сестренки — друг друга не узнаем: вытянулись. Набежали родственники: одни бабы. То смеялись, то плакали, то опять смеялись... Знаешь, как это бывает, когда одни бабы. Все ведь остались вдовы.

— Знаю, родной... — вздохнула Анфиска. — Я тогда еще маленькая была, а помню: как почтарка пройдет — то в одном дворе плач, то в другом. Да и теперь еще ревут... Когда праздники...

— По всей России было так... Переполовиненные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стенке осталась... Из нашей семьи девятiero ушло. Сначала батя с дядями. А следом и мы, пацаны. И все там... От самой Польши до Москвы могилы Чепуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке.

Чепурин несколькими затяжками жарко раскурил папиросу, морщась, заговорил пополам с дымом:

— В общем, вернулся я в свой Борисоглебск. Начислили мне сто восемьдесят три рубля пенсии. А стоптанные башмаки на барахолке тысячу рублей стоили. Пачка папирос — четвертная... Думал-думал, решил пойти в школу доучиваться. Поступил прямо в дневную. Все к лешему перезабыл, все эти синусы-косинусы. Ночами сидел догонял. Утром в школу иду — ветром шатало...

— Я бы так не смогла.

— Что было делать? Правда, в школе меня уважали. Бывало, иду по коридору, костыль скрипит, медали звякают, малышня жмет к стеночке и тихо так: «Здрасьте», «Здрасьте»... А директор говорил: «Если надо покурить, заходи в мой кабинет, вместе покурим. Только не при детях, пожалуйста»... В общем, всякое было... — Чепурин махнул рукой и замолчал.

— Говори, Паша, — попросила Анфиска. — Мне все интересно про тебя.

— Ну что еще рассказать? В тот год я все-таки десятилетку не закончил. Весной открылась рана на плече. Положили в госпиталь. Опять что-то резали. Сдал экзамены только на другую весну. Потом уехал в Харьков... Вон опять мышь появилась... — Чепурин кивнул подбородком. — Смотри, смотри! Совсем не боится. Даже ветер по лицу.

— Это она около твоей рубашки. Они все любят... А в Харькове зачем, Паша?

— В Харьков? Надо было как-то выкарабкиваться... Поехал поступать в институт.

С условием, что из дому не будут высыпать ни копейки. — Чепурин рассмеялся. — Вот тоже была веселая жизнь. Бывало, разживемся гуашью и рисуем друг другу носки — прямо на голой ноге. Кому в клеточку, кому в полосочку. Красивые носки получались. Если краски покруче на казеине замешать — износу нет. От бани до бани... Вот так, Анфисушка, я стал инженером железнодорожного транспорта... Ну что еще? Направили меня в Смоленск. Годы не поработал, как меня сюда, к вам, на укрепление энтэс... На этом вся моя городская жизнь и закончилась. Успел только жениться, перед самым отъездом.

— У нас бы и женился, — робко усмехнулась Анфиска.

— А я откуда знал, что поеду? Знал бы — повременил... Тебя бы взял. Пошла бы?

— Пошла...

— Ты тогда еще в школу бегала.

— Четырнадцать было.

— Стручок зеленый.

— Все равно через три годочка выскочила.

— Да, как бежит время! — шумно выдохнул Чепурин. — Вот уже и двенадцать лет, как я здесь... Помню, прихожу из обкома домой, месяца три, как пожевились. Так и так... Едем в деревню!.. В какую такую, говорит, деревню? Посылают, как молодого специалиста. Какой, говорит, ты специалист? Там же трактора, а ты паровозник. Пойди и объясни им... А что им, говорю, объяснять? Они и сами знают, что паровозник. Так и знай, говорит, никуда я не поеду! Я замуж выходила не за твою МТС... В общем, собрал я чемоданчик и поехал.

— Без нее?

— Один... Я тогда уже коммунистом был. Не пойдешь же говорить: мол, жена не хочет... У всех жены не хотели... Тогда только в ваш район человек тринадцать послали. Были и добровольцы, но в основном рекруты. Помню, ходят кислые по обкому. Иные разными справками запасались. Так и хочется сказать: да не тяните вы их, все равно удерут... Так и не прижились они в деревне. Потихоньку разбежались. Кто сразу, кто еще года два-три проволынил.

Чепурин опять потянулся за папиросой.

— Ну, вот... Приехал я в МТС, только малость огляделся, меня через пару лет — в колхоз, в Погожее. Он тогда отделен от вас был. Снова на укрепление.

— Досталось тебе, Паша, — вздохнула Анфиска.

— А, да ладно... Ну их к ляду, все эти воспоминания, — засмеялся Чепурин. — На-

чали про луну, а съехали черт знает куда... Смотри, как уже накрыло, сердешную. А все равно светит, не сдается... Был я недавно в своем Борисоглебске... Походил, поглядел... У нас тут лучше... Красота!

— Отвык, поди...

— Да и отвык... Что это вон там под кустом блестит?

— Где?

— Да вон... Смотри на ту ветку. Видишь? Ну и сразу под ней.

— Теперь вижу... — Анфиска присмотрелась. — Это паутина, Паша. Росой ее обдало, а паук ползает и раскашивает... Она и взблескивает.

— Все-то ты знаешь! — радостно удивился Чепурин. Он погладил ее волосы, и она, вся востропущившись от этой его ласки, поднялась на локте и, стараясь заглянуть ему в глаза, взволнованно спросила:

— Тебе хорошо со мной?

Чепурин кивнул.

— Правда? — с каким-то счастливым испугом переспросила Анфиска.

— Правда.

Она порывисто обняла Чепурина, припала щекой к его груди, жарко, обрадованно зашептала:

— Мне тоже... Мне так хорошо, что хочется пойти с тобой куда-нибудь... И сама не знаю куда...

— Сейчас в поле хорошо, — сказал Чепурин, перебирая пальцами Анфискину косу. — Хлеба подходят... Светлые стоят.

— И молодым зерном пахнут, — кивнула Анфиска. — В эту пору мы ребяташками всегда в поле бегали... Наберем снопиков, а потом где-нибудь на костре печем. — Не пробовал?

— Нет.

— Зерно молоденькое, быстро печется. Как усики обгорят, так и готово.

— И как же потом?

— А очень просто. Нашелушим в ладошку и — в рот.

— Никогда не пробовал.

— Вкусно! Свежей булкой пахнет. Как только что из печки. Особенно, если посыпать маленько... Я поле люблю... Всякое люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще серо, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет — видно... А то когда еще дождь в мае... — задумчиво шептала Анфиска. — Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка... И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается под ним... И хлеба на глазах рослеют... Утром стояли чуть выше щиколотки, а к вечеру уже и до



колен... А в лесу кукушка без устали... Дождь, а она будто и не замечает...

Обняв Чепурина, она говорила все это, закрыв глаза, счастливо хмелея от своих видений. И хотелось ей, чтобы не она одна это видела, а чтобы вместе... Так бы вот идти и идти вдвоем...

— А на заре летом, — продолжала шептать Анфиска, — когда идешь полем — тепло в хлебах. Лугом идешь — зябко, а свернешь в хлеба, сразу согреешься... Так теплом и поweist... Берегут теплоту от самого дня...

— Тебе б стихи писать.

— Не умею я стихов.

— А вот так, как говоришь.

— Что вижу, Паша, то и говорю.

— Хорошие у тебя глаза... Ворожея ты моя! Вот бы, правда, птицами нам с тобой заделаться?

— Перепелками... — подсказала Анфиска.

— Давай перепелками... Ты впереди, а я за тобой: «Дай догнать! Дай догнать!» Так они, кажется?

— И никуда б я от тебя не полетела! — тихо, радостно засмеялась Анфиска.

— Почему?

— До первой кочки только...

— Да почему до первой кочки-то? — не понял Чепурин. — Сама говорила — до моря...

— Это если б одна...

— А со мной — до кочки? Непонятно...

— Что ж тут понимать... Сразу бы и яичко тебе снесла...

— А-а! — рассмеялся Чепурин.

— Соскучилась я без гнезда...

— Нет, сначала полетали бы, — сказал он, рассматривая, как путалась луна в легком подсвеченном дыме Анфискиных волос. — Хлеба посмотреть надо... Я хоть и перепелом летал бы, а все-таки душа у меня председательская... Косить, голубушка, скоро... На днях ездил во вторую бригаду. Ничего пшеничка...

— Хорошая?

— С хлебом нынче будем.

— Каждый год так говоришь.

— Теперь точно будем.

— Не сердись, Паша. Люди видят: стараешься ты...

— А я и не сержусь, — примирительно сказал Чепурин. Он приподнял ее голову со своей груди и поцеловал.

— И не полетим мы с тобой никуда, — обнимая Чепурина, прошептала Анфиска. — Никакими перепелками. Нам и тут хорошо... Что нам еще нужно. Правда?

— Правда.

— Мой ты сейчас, и все... Пусть до света... Пусть одна трава только постелью... А все-

таки не сон, а правда... Я только во сне вот так с тобой была... С того самого раза, как подвез ты меня на машине... Помнишь?

— Помню...

— И не сказал ты мне тогда ничего такого, а как-то запало... Заболела тобой душа...

— Потому и не сказал, что сам растерялся.

— А я после того случая даже встречаться с тобой боялась... Только на собрании на тебя и погляжу, когда в президиуме сидишь... Да так, когда украдкой... Думала, заметишь что во мне... Не хотела, чтоб ты знал...

— Что ж меня бояться?

— Думала, зачем тебе это... Работа у тебя такая, на виду у всех, а я тут со своим...

— Вот дуреха!

— Когда покосили, когда было все... думала: ни за что не признаюсь, что люблю... Было, ну и было... Считал бы, что тоже у нас с тобой, как у этой луны, затмение вышло...

— Ну зачем же ты на себя так...

— Не знаю... А теперь, будто век с тобой прожила... Вот ты говоришь — в поле был сейчас... Я б с тобой хоть на край света... А только лучше бы по улице... Открыто... Чтоб народ был и чтоб все видели...

Анфискины глаза влажно заблестели.

— А плакать-то зачем?

— Это я от жадности... Первый раз со мною такое... Вот и замуж ходила, а такого не было, чтоб как пьяная... Я ведь молоденькая за него пошла. Покатал на лодке, духов в коробке подарил, никогда таких не видела... Ну, я и думала, что это и есть любовь... Что я понимала? Мы ведь все дуры девки так высказываем.

Анфиска говорила порывисто — скажет и помолчит, будто теперь только начинала понимать, осмысливать прожитое.

— Он все говорил: я из тебя конфетку сделаю. Давай, говорит, шляпу купим. И косу, говорит, теперь не носят... Как-то поехал в город, смотрю, правда, привозит шляпу... А я никак не могла шляпу-то эту... Всю жизнь в платках... Другой раз думаю: уважить все-таки надо... Все уйдут из дому, а я — приметь перед зеркалом. Примеряю и в зеркало себя не вижу: так стыдно!.. Думаю, ладно, не сразу. Может, и к шляпкам привыкну... Жизнь еще вся впереди. Вот переедем с ним в город, там, может, надену... А на этом все и кончилось... Пожила три месяца, а потом часть ихняя снялась, и он уехал... Говорил, что, как приедет на место, вызовет телеграммою. И по сей день... Поплакала я, заплакала, да и ждать перестала. Маленький родился...

Вот и вся моя любовь, Паша... Даже к замужеству не успела привыкнуть... Будто в тяжелой болезни побывала.

— Тебе холодно? — спросил Чепурин. — Ты вся дрожишь...

— Это я когда наговорюсь. Про свою жизнь. Меня и колотит... Смотри, как уже закрыло луну-то.

— Ага.

— И звезды выпали.

— Это потому, что небо потемнело.

— Я когда маленькая была, думала: звезды — это просо рассыпано.

Чепурин усмехнулся.

— А месяц — петушок.

— Выдумщица!

— Правда... Мне тогда везде сказки чудились. Бывало, найду битое стеклышко, зеленое или красное, приложу к глазу, да так бы все и смотрела: сказка!

Анфиска задумчиво посмотрела на обломок луны.

— Давеча иду лугом: лошадь с жеребеночком. Сама спутанная по ногам и над сбитой холкой мухи вертятся. А жеребенок знай себе вынашивается. Щипнет раз-другой травку и скачет — ног под собой не чувствует. Ему щипнуть не главное. А самое важное — вот так по траве розовыми копытцами помельтеши. И, наверное, все ему сказкой кажется... А мать, гляжу, ест, ест эту самую траву, жадно так, словно бы работу выполняет: надо. А сама все глазом косит на жеребенка. Увидит, что далеко забежал, поднимет голову и тревожно так позовет... Поглядела я на них и по этому жеребенку да по лошади себя узнала: какая была и какая есть теперь... Я ведь в детстве как считала? Хлеб — это так, между прочим... Даже и голодно было, и то... Главное — в стеклышко поглядеть. А теперь все наоборот, как у той лошади...

— Сама ты стеклышко битое, — рассмеялся Чепурин и растроганно привлек к себе Анфиску. — Так бы и глядел через тебя!

— Что ты через меня увидишь?

— А вот вижу... Как-то чисто, хорошо... А насчет лошади — это ты на себя наговариваешь. Человеку никогда не перестанут чудиться сказки. На то он и человек. И у тебя она есть.

— Разве ты только, — вздохнула Анфиска. — Вот едешь мимо дома, а я так и подскочу к окошку. Будто магнитом притянет. Отодвину занавеску и высматриваю в дырочку. Как раньше в детстве через это самое битое стеклышко. И, кроме тебя, никого и не замечала. Гляжу, а у самой так и кольнет сердце:

может, зайдешь в избу-то... Но так ни разу и не зашел... Не сказка, а горе ты мое... Видеть вижу, а не достану. Как тот мой золотой петушок в небе.

— А вот и достала...

— Минутное это все, Паша... До свету. А хочется, чтобы всегда было так...

У

Кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку с правого края. В тусклом призрачном свете глухо темнел лес. Чуть приметно брезжили белые валки покоса. Было слышно, как с кустов падала роса. Отяжелевшие капли срывались и, падая, разбивались о встречные листья. Кусты неумолчно шуршали и перешептывались.

— Какую ночь мы себе выбрали, — затаенно прошептала Анфиска.

— Не будь затмения, я бы и не решился приехать, — сказал Чепурин.

— Почему, Паша?

— Ну как это?.. Ни с того ни с сего... А то думаю: затмение, дай помогу. Вроде как причина. Наверно, сразу все и поняла?

— Я думала, ты выпивши.

— Да нет... Не было такого...

— Вижу, говоришь как-то не так... Дума-ла, выпил.

— Это я от страха, должно быть, — засмеялся Чепурин. — Еще в дороге: стал у паромщика косу просить, а он посмотрел на меня хитрым бесом и говорит: «Покосись, покосись, председатель... Дело твое молодое... Только косу не утерай... Завези утречком-то». А до того на станции: зашел в буфет купить кое-чего, а буфетчица с усмешкой: «Кара-Кумчиков» возьмите, пригодятся...» Вот язва! А ну их всех! Давай-ка мы лучше перекусим. С утра ничего не ел...

— Поешь, родной.

— И ты тоже... Я сейчас принесу.

Чепурин поднялся, пошел к мотоциклу.

Анфиске было жалко, что он ушел, и она протянула и положила руку на примятую рядом с нею траву, будто хотела укрыть и сберечь в траве оставшееся после Чепурина тепло. Дожидаюсь, она прислушивалась, как он копался в мотоцикле, и ей было непонятно, как она все это время жила без него... И как будет жить завтра, когда из-за этого вот леса взойдет солнце и наступит день... И послезавтра... И страшась и не желая думать об этом, она нетерпеливо позвала:

— Паша!

— Иду! — откликнулся он издали, смутно белея рубашкой.

Возвратясь, он сел на краю, свесил ноги с обрыва, зашуршал бумагой, разворачивая сверток.

— Давай сюда, на бережок... — сказал он оживленно. — Черт, луна совсем спряталась... Костер, что ли, разложить?

— Не надо... Не возись...

— Ну фару давай засветим.

— Ну ее...

— Я тут бутылку прихватил, — смущенно сказал он. — Выпью маленько? А то прохладно все-таки... Озябла, поди?

— Глоточек выпью...

— Белая только.

— Ничего...

— Жалко, стаканчик не догадался захватить. У тебя нет?

— Кружка есть. В узелке возле Витюшки.

— Пойду возьму.

— Не ходи, Паша. Жалко ведь...

— Чего жалко?

— Минутки наши бегут... Дай, я так выпью.

Анфиска отпила один глоток, потом, расхрабравшись, глотнула еще и еще, но, почувствовав, как перехватило дыхание и навернулись слезы, отняла бутылку от губ, невидяще протянула ее в сторону Чепурина и шумно задыхалась в ладошку.

— С ума сошла, столько выпить! — ужаснулась она. — Пьяная буду. До стыда.

— Ничего, — подбодрил Чепурин. — Согреешься. Бери, поешь. Тут вот сыр... Пирожки какие-то... Колбаса... Сейчас порежу. — Чепурин щелкнул складником. Под ножом вкусно пахло чесноком. — Ешь давай. Еще вот яблоки моченые.

Анфиска жевала, поглядывая на реку. В темной воде светились редкие звезды. Река старалась унести их с собой, качала и дробила на невидимых струях, но звезды, будто позолоченные поплавки, снова возвращались на прежнее место. Заречного берега не было видно, но временами с той стороны легким дыханием ветерка доносило запах спелых стогов.

В деревьях на берегу перекликались ранние птухи.

— Сеном как пахнет! — глубоко вздохнула Анфиска, радуясь еде, выпитым глоткам водки, реке, запаху сена и всей этой вольнице.

— Ехал я сегодня лугами, — говорил Чепурин, шурша в темноте газетой. — От самого райцентра по всей пойме стога и стога. В глазах рябит. Тысячи!

— Ключевские тоже убрались?

— Все! До последней былки.

— А в Капустичах?

— Докашивают, копны свозят. Поглядел — народу в лугах! Ни в какие годы столько не было. Праздник!

— На хорошее — народ дружно.

— Подъехал я к одному деду. Сухой, как стручок, штаны пустые, но косишкой рьяно так шмурыгает. Ну как, говорю, отец? Идут дела? Остановился, смеется красными деснами: что ж им не поить... Одна, говорит, осталась нам работка, где вот так-то всем миром: сенокос. Отстранили вы нас, стариков, от поля. Обезюдела жатва. Разве што со стороны поглядишь, с дороги. А што справа от той дороги и што слева, — вроде как и не мое теперича... Ты, говорит, только не записывай... Это мы промеем собою, сынок. По душам... Хотя ты и не нашенский председатель, а соседский, однако тебе тоже сказать надо. — Смотрю, у дедка уж и руки трясутся. Крутит цигарку, а табак в разные стороны. — И еще скажу: с народом лады, сынок. Не шушайся от него по кабинетам.

Чепурин откинулся на спину, положил голову Анфиске на колени и лежал так недвижно, лицом к потухающей луне. Она истинно безропотно, в настороженно больной тишине, обляящая землю и небо. Слабый свет узкого серпа терялся где-то в вышине, не достигая земли, и все здесь, внизу, было погружено в тревожное затаенное ожидание. Было только слышно, как бежала река, да невидимые деревья и травы роняли невидимые капли росы.

— Надо пораньше в «Сельхозтехнику» смотаться. Кое-что к комбайнам выколотить... Хуже нет любить председателя!

— Да почему же, родной?

— Разговорами про гектары да центнеры замучает.

— Этим и живем, Паша...

— Да и поговорить не с кем... Так вот, чтобы начистоту. Все в себе носишь... Разве что жене сказал бы... Так ей наплевать на все это... Вот поехала загораь. А потом какие-то одноплечники письма шлют... — Чепурин вздохнул. — Один я, Анфиса...

— Верю, родной, верю...

— Последнее время уставать начал. Старею, что ли? Такое ощущение, будто с самого фронта не демобилизовывался. Кажется, что и сапоги те же... Где-то люди в театры по субботам ходят, в выходной с книжкой на диване валяются... Лет пять, как ни одной книжки не прочитал.

Тень земли скрыла последние остатки лунного диска. Откуда-то набежавшие тучи, разрозненные и сонные, глухо серея, медленно

подкрадывались к луне. В разводах между ними синело небо, слабо подсвеченное звездами. И на этой синеве отчетливо вырисовывался черный круг, окантованный по краям блеклым отсветом. Казалось, в небе висела луна с мертвым, незрячим ликом. В темноте, перебирая его волосы, Анфиска чувствовала на коленях приятную тяжесть головы Чепурина, улавливая запах вина и папирос в его дыхании, все это пробуждало в ней счастливое чувство близости и родства к Чепурину.

Чепурин поднял руку и в темноте ответно провел ладонью по щеке.

— У тебя хорошие руки, Паша.

— Чем они хорошие?

— Добрые... И травой пахнут... По рукам можно узнать, любит человек или не любит.

— Как это?

— Не знаю... Не могу тебе объяснить... Просто чувствую... Человек может сказать неправду, а руки — нет...

— Добрая ты душа, Анфиса. Вот живу я со своей... Приеду вечером домой, только и скажет: обед на плите. Или: сапоги оскреби... И весь разговор...

— Почему так, Паша?

— Теперь и не разобрать, кто виноват. Может, и сам... Завез в деревню, по полям мотаюсь. Ни выходного, ни отпуска. Все откладывал с отпуском. Да и когда было? Что ни год — то суматоха... Она ведь от меня уже уезжала. Два года не жили... Говорит, что у матери была, а так кто ее знает... В общем, застарелая болезнь у нас с нею... Никакому теперь уже лечению не поддается... Вот настояла сынишку отправить к бабке.

— К твоей матери?

— Ну, что ты! В Смоленск! У них там панино и все такое... Мол, тебе один колхоз на уме, а мальчику расти надо... А я, правда, его и не вижу. Без меня вырос.

— Сколько ему?

— Да уже одиннадцатый... Теперь и вовсе пусто в избе без него... Вчера вечером заехал домой — никого! Даже ходики стоят, гирька на полу.

— Все я понимаю, — вздохнула Анфиска. — Не бесчувственная.

— Вот узнает начальство, что я тут с тобой на берегу... лунное затмение наблюдаю... Персональное дело заведут... На днях заехал в райком, усадил меня первый в кресло, про колхоз стал спрашивать. Раньше никогда не спрашивал, сам все знал. Потом и говорит: давай, Чепурин, пиши заявление, пересмотрим твои выговоры. Сколько их у тебя накопилось? Три, кажется? Полный кавалер!.. Смеется: ну ничего, снимем... Будем,

Чепурин, дальше двигать историю. Смотри, какой нам простор теперь дали... А, да лучший с ними, с выговорами! — Чепурин приподнялся с Анфискиных колен. — Мне бы еще пяток лет поработать. Охота посмотреть, как оно пойдет...

— Ты еще молодой, Паша. Вон как мы давеча поляну-то уложили.

— Это я перед тобой только... Петухом... Вот раны начали донимать. На пятый десяток уже перевалило... По годам посчитать — много, а если разобраться, то по-человечески еще и не жил. Ни в городе, ни в деревне...

Невидимая и сильная река бежала где-то под ними, в темной глубине русла. Десна наполнилась множеством то тихих, едва уловимых, то вдруг шумных напряженных выплесков и, как живая, дышала в своей неутомимой работе терпкой речной испариной. По этим всплескам угадывалась ночная жизнь реки, можно было представить, как у глинистых твердолобо-упорных мысов струи закручивались тугими пружинами, то устремляясь в глубину со сущими воронками, то выбрасываясь наверх донной, гневной кипящей водой. И как потом усталая река отдыхала на чистых пологих песках, сама становясь чистой и спокойной, и как мирно перешептывалась она с дремавшими камышами и осоками.

Сквозь речную сырость с другого берега от стогов прорывался слабый предутренний ветерок, и тогда дурманно и хмельно пахло переломившимся летом.

— А мне ты все равно молодой... — прошептала Анфиска. — Не смотри ты на эту луну... Ну ее!..

Она рывком обняла Чепурина и страстно, голодно стала целовать, закрыв его лицо рассыпавшимися волосами...

## VI

На востоке робко, бескровно посветлело.

Проступили обвисшие под тяжестью росы, похожие на косматых старых древние уремные ракиты. Наплывшие под утро мышино-серые тучи уплотнились, закрыли луну, так и не успевшую осветлиться, и все, что теперь с ней делалось, — происходило в незримом таинстве. Все вокруг было наполнено сосредоточенным раздумьем, будто природа, только что пережившая таинственную операцию над луной, теперь притихшая, томимая неизвестностью, ждала окончательного исхода. Даже камышевки не решались поднимать обычный утренний гам и, сторожко перепархивая в кустах, односложно посвистывали вполголоса.

Деляна, еще вчера полнившаяся пестрой кипенью цветов, неузнаваемо опустела и просторнела, будто комната, из которой за ночь вынесли все. Скошенные травы к утру обессили, прижились к земле и теперь в сером полусвете утра однообразно маячили туманно-сызими стенами.

— Пора нам... — сказала Анфиска.

Чепурин кивнул, но продолжал лежать.

Анфиска приподнялась и, охватив колени и положив на них голову, уставилась на одинокую былку морковника, случайно уцелевшую на середине поляны. Потом стала переплетать растрепавшуюся косу.

— Да... — что-то подытожил Чепурин и рывком встал на ноги.

Он молча сгреб копнушку, раструсил ее между валками, разобрал косы и отнес их к мотоциклу.

— Бери Витюшку, поедем, — сказал он, развернувшись и вытолкнув из травы мотоцикл.

— Нет, Паша, — потупилась Анфиска, — Поезжай один.

— А ты как же?

— Я сама.

— Ну что ты! Все лодки на той стороне.

— Тебе на паром надо...

— Ерунда... Старик болтать не станет.

— Нет, нет... не проси.

— Ну как же... Были, были и — я в одну сторону, ты — в другую...

— Такая наша доля...

— Ну, не надо так... — нахмурился Чепурин. — Не могу я тебя бросить.

— Это, Паша, не бросанье... Вот, если разлюбишь...

Анфиска потянулась к нему руками, обняла, прижалась всем теплым устало-ласковым телом и, откинув голову, заглянула в его глаза — доверчиво и открыто...

— Поезжай...

— Не поеду я один. — Чепурин нагнулся, подел под Анфискины колени, поднял ее на руках.

— Не надо, Паша, — попросила Анфиска. — Послушайся. Не надо, чтоб нас с тобой видели. Понимаешь?

Чепурин поставил Анфиску на землю.

— Давай хоть Витюшку отвезу. Намучилась парнишка...

Витька крепко спал на охапке травы. Под накинутой на него телогрейкой он казался маленькой незаметной кочкой. Из-под насыревшей полы торчала только босая, искусанная комарами ножонка, покрасневшая от крепкой утренней свежести.

Анфиска и Чепурин присели перед ним на корточках.

— Крепко спит, косарь! — потеплев лицом, усмехнулся Чепурин.

— Витя, сынок... — Анфиска потормошила его, приподняла сонного. Растрепанный, с отпечатавшимися травинками на заспанно-округлой щеке, Витька, не открывая глаз, подгибал ноги и расслабленно опять оседал на траву.

— Вить, домой поедем...

— Как разоспался парень!

— С дядей Пашей. Знаешь дядю Пашу? Наш председатель.

Витька потер кулаками глаза, расклеивая пухлые губы, проговорил:

— Зна-а-аю...

— Ну вот, — обрадовалась Анфиска. — С дядей Пашей и поедешь. На мотоцикле.

— Ла-адно...

Чепурин надел на него свой пиджак, плотно обернул полами, подпоясал ремнем и отнес в коляску. Анфиска глядела на то, как Чепурин возился с Виткой, и у нее радостно и влажно блеснули глаза.

— Мам, а ты? — забеспокоился Витька.

— Я тут останусь...

— Почему, мам? Садись! Еще есть место...

Анфиска нагнулась, поцеловала Витку в растрепанные вихры.

— Глупый ты мой... Скажи бабушке, я скоро...

Чепурин, медля, завел мотоцикл и уже за рулем взглянул на Анфиску, поймал ее взгляд, закрыл глаза и посидел так, с закрытыми глазами. Потом резко крутнул ручку газа, машина дернулась и нырнула под мокрые лозняки.

Анфиска постояла, послушала, как хрустели под колесами ветки, потом повернулась и пошла к берегу, машинально обломив по пути одиноко торчавшую былку морковника.

Внизу рассветно и холодно клубилась туманом Десна.

Анфиска в какой-то бесчувственной отрешенности спустилась с обрыва, разделась, завязала в узелок белье и неслышно погрузилась в воду.

Она плыла на боку, толчками порозовевшего плеча рассекая и буруня сумеречную гладь реки. Коса, соскочившая с приколота, змеисто извивалась на воде. Туман стлался над самой Анфискиной головой, задевая поднятый в руке узелок с платьем, он был плотен и непроницаем, как низко нависший потолок. Десна под ним казалась бездонной и отливала тусклой зеленоватой чернью. Анфиска плыла под туманом, не видя берегов, по одному течению угадывая путь. Но реки она не боялась, не думала ни о ширине, ни о темных глубинах.

Она плыла, стараясь не плескаться, прислушиваясь. Под нависшим сводом туманного ку-

рева стояла глухая мертвая тишина. Было только слышно, как бежала мимо нее, чуть позванивая, сонная вода и как низко, с шелковым шорохом пролетела какая-то птица.

И вдруг где-то на середине туман розово вспыхнул и светло и радостно просияла вода. Анфиска догадалась: взошло солнце. Она даже остановилась, перестала грести. Ее сносило вниз по течению, но она все ждала, настороженно вслушиваясь, стараясь за всплесками воды разобрать еще что-то такое, что ей так хотелось.

Сквозь оживший под солнцем туман, откуда-то из-за облачной дали, пробился едва уловимый гул мотоцикла.

Сердце ее толкнулось, забилось часто, настороженно. И она полпыла, полнясь тихой нежностью и надеждой.

## ПЯТЫЙ ДЕНЬ ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ

В последнюю погожую неделю октября на окраине областного города открылась сельская осенняя выставка. На улицах веселого фанерного городка попережку с дикторскими объявлениями гремели марши и взмывали породистые быки. Тракторы новейших марок временами сотрясали землю вместе с павильонами. Выхлопные дымы мешались с запахом антоновки и крепкой осенней капусты. А над всем этим, в синеве солнечного ветреного неба, на высоких шестах струились флаги, вытягиваясь в одну сторону, как отлетные журавли. И было радостно и празднично от их пламенно-кумачовых всплесков.

На выставочных площадках в походных кухнях, одолженных по этому случаю у местной воинской части, варились кукурузные початки. Крышки котлов наглухо завинчены лопухими гайками, но даже и они не могли удержать аромата. Возле кухонь нетерпеливо толпились ребятишки. Повара в белых халатах и высоких накрахмаленных колпаках с важностью посматривали то на водомерные трубки, то на карманные часы. Вот кто-нибудь из них делал повелительный жест рукой и требовал отойти подальше. Над булькающим кратером котла вздымалось облако пара, повар поддевал метровой вилкой первый дымящийся ослепительно-желтый кочан и в обмен на пятачок, покрикивая: «Руки! Руки береги!» — сбрасывал его в подставленную кепку. Что же это за лакомство — пропаренный до барашковой курчавости, до золотурного синия, обжигающий руки даже сквозь ватную шапку початок, особенно если его подсолить из ба-

ночки, которую имел при себе каждый кукурузный повар!

А тем временем колхозники показывали свои достижения под ажурными навесами павильонов и на скотных площадках. Все они, какого ни возьми, были отменно загорелые, будто только что приехали сюда с самого южного берега Крыма. Лишь на затылках и висках просвечивала белая кожа после свежей стрижки по случаю праздника. Многие были в новых, неловких, словно чужих костюмах, иные даже при галстуках, которые, впрочем, ни у одного не сидели должным образом, а непременно съезжали на сторону или же, ослабнув в узле, обнажали под воротником верхнюю пуговицу рубашки, что случается с горожанином, когда он порядком, или, как говорил один выставочный милиционер, «зарядно выпимши».

Показывали они свои достижения в большинстве случаев молча, лишь иногда бросая коротко: «Не балуй», если какой-нибудь малец начинал карабкаться на трактор или тыкать кукурузной кочерыжкой в бок развалившегося за изгородью хрюка. Так что весь день, терпеливо простояв возле своих экспонатов, они и сами, казалось, были выставлены для всеобщего обозрения.

\* \* \*

Одетая в белый халат поверх плюшевого жакета, которые все еще любят носить женщины черноземного подтестья, топталась возле своих коров Анисья Квасова — уже немолодая, с узким сухим лицом, темневшим треугольником из серенького полшалка. Ляпо это с костистыми, обтянутыми и поэтому особенно заветренными скулами и со впалыми щеками, на которых ранее всего появлялись беспорядочные морщины, лицо это было замкнуто и даже сурово. Но в светло-серых глазах, затененных крутым надбровьем, таилась детская робость и доверчивость. Такие женщины обычно молчаливы даже в девичестве, больше слушают других, а при неожиданной и редкой улыбке стараются прикрыть рот концом косынки. Но зато нет рукастее их в работе, и, наверное, не бывает в нашей стороне более хлебосольной хозяйки, когда в ее избу нагрянут званые или незваные гости: уполномоченный ли на ночлег, заблудившийся в осеннюю распутицу водитель или ползу забытая золовка с детишками из дальних мест. Забегает, замелькает неслышно по избе — и зашумит самовар у загнетки, вскрикнет и забьется зарубленная курица, а из распахнутого сундука замелькают чистые мережковые наволочки с

простынями, и все это в радостно-смятенной бессловесности.

Коров у Анисьи было три: Ромашка, Зинка и Лада. Лада чуть погрознее, попреставительнее — она мать, а Зинка с Ромашкою ее дочери. Все три были светлой масти цвета молока, самую малость приправленного кофе. И у всех у трех — белые чулочки на передних ногах и белые одинаковые пролысинки на узких и большеухих мордах, похожих на олени. Схожесть с оленухами им придавала еще и безрогость — и мать и дочери комолы. Но в крестцах коровы были неожиданно высокие и разлаты, с тяжелым, прямо-таки неподъемным выменем, так что если бы одну из них, скажем, разрезать поперек, то, пожалуй, никто не признал бы, что обе части принадлежат одной и той же корове. Своей необычностью животные вызывали любопытство, и возле Анисьиного стойла всегда толкался народ.

Когда Анисье сказали, что поедет на выставку, она испуганно ойкнула и целый день скребла и чистила коров, хотя они и без того содержались в опрятности. Потом еще мыла их теплой водой с дегтярным мылом и уксусом, а хвосты — самые кисточки — даже расчесала гребнем, так что они вовсе волнисто распушились. А приехавши на выставку, Анисья ревниво оглядела все, что доставили из других колхозов. Скотины навезли множество: с машин с зарешеченными кузовами сводили по доскам коров, телят, баранов невиданной породы — один лобастее другого, свиней всяких да еще с малыми поросятами. О птице и говорить нечего: каких только гусей не навезли! Больше всего Анисью занимали коровы, и, надо сказать, были среди них очень видные и статные. Но, возвращаясь к своей машине, ожидавшейся разгрузки, и еще издали увидев за бортовыми решетками своих коров, она тихо радовалась: свои всегда кажутся лучше.

Определив коров в стойло, Анисья больше не отходила от них все эти дни, каждую минуту находя себе дело. Праздник праздником, а и убирать за скотиной надо, и сено в кормушке поладнять, чтобы зря не топталось, и подоить три раза, потому как для коров и вовсе нет ни выхальных, ни праздников: знай гони молоко. Затем их и показывали, что каждая за раз наеживала по полной доенке. Это если посчитать, то ребятишкам на целую школу по стакану молока каждый день.

Спала Анисья в шумном, переполненном и прокуренном Доме колхозника, выстроенном тут же, на краю выставочного городка, где всю ночь горел свет, хлопали дверьми, а за

хлипкими перегородками на мужской половине стучали в домино, горласто, подвыпивши, гомонили с непрерывным матерком, хохотали, пиликали на гармошке. Анисья не спала, а так, вздремывала на казенной провалистой койке, стесняясь раздеться как положено, сбросив одну только жакетку да резиновые сапоги. И даже во сне струились и хлопали выставочные флаги — так они за день намелькались в глазах.

Вскакивала еще до свету и, окликаемая сторожами, таившимися где-то под навесами павильонов, бежала по пустым выставочным улицам. Лада узнавала ее еще издали, нетерпеливо и обрадованно взмывала. И Анисья, тоже радуясь, приговаривая: «Сейчас, девки, сейчас, родные», совала им сквозь решетку куски булки, оставшиеся после ужина.

В коровьем стойле, где пахло скотиной и сеном, где стояла доильная скамейка и висели ведра, ей было привычно, она чувствовала себя здесь куда как спокойней, чем в заезжем доме, и ей даже нравились эти ранние и тихие часы до открытия выставки.

Тем временем начинали доить и в других стойлах, позвякивали ведра и цепи, циркало молоко, перекликались выставочные петухи в пропащем антоновкой и капустой синем предрассвете, и, казалось, все было так, как на колхозной ферме. Молоко сливали во флаги и отвозили куда-то на машине. Потом по рядам развозили сено, и угрюмый казенный скотник, стоя на возу, сбрасывал пару-тройку навильников прямо на коровьи головы.

Анисье всегда казалось, что он скарденничает, обделяет ее коров, и она старалась украдкой выпить из воза лишний пучок.

— Но-но! — кричал скотник, замахиваясь на нее вилами.

— Кинь еще маленько, — просила Анисья.

— Вот я т-тя кину...

— Насорил только...

Скотник отъезжал к соседнему быку, громыхавшему цепью за дощатой перегородкой.

Вечерняя дойка проходила тоже без посторонних, после того как схлынет гуляющая публика. Зато днем, когда выставка бурлила в полную силу, доить приходилось на людях. Анисья присаживалась перед Ладой, загородку обступали любопытные. Обмывая Ладино большое, отяжелевшее вымя, розоватое, покрытое легким белым пушком, сквозь который проступали голубые, напряженно вздутые вены, Анисья слышала голоса:

— Гляди, доит...

— Пацаны, айда сюда, тут доят!

Бежали глядеть ребятишки, останавливались зрелые.



Шумно налетала стая десятиклассниц в сопровождении не менее шумных своих одноклассников и, зашебевая: «Девочки, побежали. Ну чего особенного? Не видели, как доят коров?» — останавливались посмотреть.

- Мам, а что теля делает?
- Тетя доит молоко, Игоречек.
- То самое, что в садике?
- То самое...

Молодая женщина в голубом кожаном пальто, с пышно и высоко взбитой прической подняла сынишку над оградой. И круглощекий Игорек, одетый в розовый комбинезон под космонавта, заглядывая через изгородь, за которой, запуская языки в розовые парные ноздри, шумно жевали настоящие живые коровы, с каким-то испугом в округлившись, немигающих глазах смотрел, как Анисья «делала» молоко — то самое, что в садике. Глядел он на Анисьины большие красные кулаки, которые часто мелькали, поднимаясь и опускаясь, и из этих красных кулаков, то из правого, то из левого, в ведро били мгновенные упругие молнии. Ведро сперва голодно позванивало, потом показалась белая пузырчатая шапка, струи пропарывали пену отрывистыми хлопками, будто били по бумаге.

- Мам, а коровке не больно?
- Нет, не больно...

Анисья слушала лепет малыша и умилялась его любопытством и незданием: «Откуда же ему знать, — думала она. — Все бутылки да бутылки. Ах ты господи!»

Она отставила тихо кипящую доенку, достала из своей авоськи, что висела на задней стенке на гвозде, алюминиевую кружку, раздула пену и зачерпнула.

— А ну-ка, попей вот молочка. — Она обтерла ладонью доньшко и протянула теплую кружку через изгородь. — Попей, голубчик. Не стоялое, от коровки толечко. Самое сладенькое, запашистое.

Малыш отпрянул от протянутой к нему кружки.

— Может, он меня чурается, так вы сами... Из своих рук. Коровка моя чистая и кружка сполоснутая...

— Что же ты? Как нехорошо... — укоряла сына женщина.

Игорек еще больше нагнул голову и вдруг заревел.

— Ах ты господи... — Анисья сконфуженно вылила молоко обратно в доенку. Обеим — и мамаше и ей — сделалось неловко.

— Пойдем, пойдем, — заторопилась женщина, — мы еще не видели лошадок. Хочешь посмотреть лошадок?

Иногда набегали обвешанные аппаратами фотокорреспонденты. Они ставили Анисью между коров, заставляли обнимать Ладу за шею или же совать ей в нос пучок сена.

— Головку вот так... — Фотограф брал Анисью за подбородок и воротил голову куда-то в сторону. — Не смотрите на меня. На корову смотрите, на корову... Вы ее кормите и ласково разговариваете... Очень хорошо... А где же улыбочка?

Анисья послушно поворачивала голову, подсовывала Ладе сено и старалась улыбнуться. Но губы, будто обмороженные, не подчинялись, и она еще больше немела лицом, а глаза заволакивались слезой от внутреннего напряжения, так что она уже не видела ни коровы, ни фотографа.

— Очень хорошо! А теперь запишем... Значит, Анисья Квасова... так... доярка...

— Ага, доярка, — облегченно выдыхала Анисья.

— Так... Ну и как вы добились такого успеха?

- Да как... Кормим, ходим...
- Передовой опыт, конечно, изучаете...
- Да есть брошюрки... У нашего учетчика.
- Значит, читаете, — подсказал корреспондент.

Ему, видно, очень надо было, чтобы Анисья читала брошюрки, и он, не дожидаясь ответа, что-то записал в блокнот.

Анисья сконфуженно теребила Ладино ухо.

— Если хотите иметь фотокарточки лично, — сказал под конец фотоаппарат, — могу занести.

После дойки Анисья полоскала ведро, стирала цедильную марлечку, снова прибирала в стойле, посыпала мокрые места песком, всякий раз боясь остаться без дела, потому что просто так торчать на людях под сотнями любопытных глаз было непривычно. А народ все валил и валил вдоль скотных рядов, и все непременно останавливались перед Анисьиной тронцей.

- Петька, гляди, какая коровица.
- Ого!
- Дай ей покурить.
- Га-га-га!
- Мальчик, зачем же ты тычешь в корову папирсой? А еще, наверно, пионер.

Мальчишки шмыгнули в толпу.

— А вы знаете, Алла Павловна, я этим летом был в Нидерландах. И представьте — у них сплошь черно-рябые. Просто поразительно. Проехал всю Голландию — и одни черно-рябые.

— Это тоже милые коровки. Смотрите, вымя какое. Особенно вот у этой. Не представляю, как она ходит с таким выменем.

— Голубушка, вы не скажете, почему они безрогие?

— Комолые, — пояснила Анисья.  
— Как это?  
— Без рогов которые.  
— Первый раз вижу. Это что же, порода \*акая? Что-нибудь новое?  
— Не знаю... — Анисья застеснялась своей неучености. — Так просто... Деревенская...

Она знала только одну породу — ту, что прошла с ней рядом через всю ее жизнь: таскала плуг по одичалому, забурияненному в тяжкие годы войны полю, когда, кроме баб и коров, не осталось никакого другого тягла; волокла из леса к деревенскому пепелищу свежесрубленные кругляши, из которых вокруг уцелевших печей все те же бабы сами вязали венцы и забирали простенки; возила торф из болота и рожениц в больницу и с первой каплей телилась сама плоским, каким-то слежалым телком, с которым бледные, бескровные ребятишки играли с неделю, пока он учился вставать на нетвердые копытца, а затем играли уже в бабки из его костей.

Знала Анисья ту породу, что в бескормные зимы, встав на дыбки, обнажив тощий живот и усохшее, тряпичное вымя, скреблась по стене копытами, тянула и выщипывала обледеленую застреху коровника и не сдыхала, не имела права околевать только потому, что чуяла близости, за хлебом, возно детишек, для которых она из последних своих соков наеживала кружку-другую синеватого молока. Ее заносили в черные списки беспородных, выродившихся, пригодных только на головки кирзовых сапог, но Анисья знала, что если эту ребрастую, зачуханную горемыку покормить хотя бы один год досыта, подостлать ей свежей просяночки да не пинать, а найти для нее парутрону добрых слов на каждый раз, то вскоре она позабудет все свои прежние невзгоды, быстро наберет тело, шкура ее заблестит, забархатится, а до того сморщенное вымя нальется, отяжелет и резиново распрямятся соски. И будет она каждую зорю перед закатом, издавая протяжный трубный мык по лугам, спешить ко двору, обрызгивая нетерпеливым молоком дорожную пыль и собственные копыта.

Такой породы и была ее Лада.

Она досталась Анисье от Клавдюхи лет семь, а то и все восемь тому назад. Тогда Клавдюха еще только начинала доярить, а до той поры кипятила воду, мыла фляги, иногда подменяла кого-нибудь на дойке — приравливалась к делу. Анисья помнила ее еще совсем пугливой: худющей, безгрудой, в маломерковом надставленном платьишке, с мышиными хвостиками косид, схваченных по концам марлевой тесемкой.

Когда Клавдюха начала доить самостоятельно, ей спихнули самую ничкемную скотину: тугососых, бодливых, застарелых яловон. Но Клавдюха и этому была рада. Бывало, бежит с доярками в луга, старается не отстать от спорого бабьего шага, на руке песком начиненный подойник, а на дне его — кусок хлеба, чтоб коровы к ней привыкали.

Досталась Клавдюхе и эта самая Лада — тихая, замученная оводами безрогая животина... Ладу безнаказанно бодали, из-под носа отнимали пучок травы, она ходила с пропоротыми боками, в ссадинах, старалась отделиться от стада и пастись одна, так что поневоле была самой блудливой коровой. За это пастухи ненавидели ее и лупили чем попадя.

А тут еще в те годы с кормами было худо. Ровные открытые луга, а стало быть, и самые тонкотравные и укормистые, запахивали под кукурузу. Скотина бродила по кустарниковым неудобьям, дожидаясь, пока вырастет кукуруза. И получалось, что в самый травный месяц май, когда к тому же план по молоку подвалил высокий, кормиться было нечем.

В это-то время ихний председатель Иван Тихонович и распорядился поддержать коров мучной болтушкой. Приказ был такой: за каждый надоенный литр — сто граммов муки. Дала корова десять литров — получай кило... Дала пятнадцать — получай полтора... Такая была заведена коровья сдельщина: кто не дотится, тот не ест. Ну, а поскольку Лада давала не больше двух-трех кружек, ей ничего и не причиталось из председательской премиальной оплаты. Да и другим Клавдюхиным горемыкам за их нерадение тоже доставалось что ни есть на самую понюшку.

Бегают с ведром Клавдюха, а надоев никаких. Все, бывало, пишут ее фамилию на самом последнем месте. Иной раз подойдет Клавдюха к доске показателей, смотрит, а сама ногти грызет.

Зайкнулась как-то Анисья Ивану Тихоновичу, чтобы Клавдюхиным коровам мучицы прибавили, а он: «Ты давай знай свое. У меня план третич, а я тут буду с дармоедами нянчиться. Пусть она на таких учится. На заводе ученику тоже не сразу хороший станок дают». Такой суровый человек этот Иван Тихонович...

Тем же летом по троице случилось у Клавдюхи неприятность. Поймали ее за нехорошим делом. Стала подливать в молоко разведенный мел. И как она такое удумала? Дошло до Ивана Тихоновича. А он сразу: «Позвать сюда Клавку! Ты что ж, говорит, делаешь? Тебе колхоз доверие оказал, а ты пакостишь». Да еще судом пригрозил. Может, он и несерьезно это, судом-то, так только, пострашать, ну а

Клавдюха еще пуще оробела да в тот же вечер как ушла из кабинета Ивана Тихоновича, так и не пришла больше домой. Ни справки, ни полсправки не взяла, как была в одной жакетке, так и пропала. С тех пор Клавдюха больше и не появлялась в деревне.

...Спросили у Анисьи невзначай про Ладину породу, а вся эта история и припомнилась ей. И долго она еще припоминала, откуда пошла ее Лада, а заодно и о многом другом передумала, и как-то выходило, что комолы не одни только коровы бывают, а и человек тоже, и всяк может боднуть и отпугнуть от своего стада.

После Клавдюхи никто больше не хотел брать к себе Ладу. Иван Тихонович распорядился спастись ее и свести в районную столовую. Пастух Сашка Севрюк побег ловить, накинул веревку на шею и, регоча и злорадствуя, надавал Ладе сапогами под бока. Уж больно насолила она ему своей блудливостью. Тут-то Анисья и отняла у него корову и забрала себе, в свою группу. Уж и походила она за ней, как за бездомной сиротой. Обмыла застарелые стружья, смазала чистым дегтем. Да еще оставалась после дойки в лугах, уводила с собой Ладу подальше, куда-нибудь в укромное, незатопанное местечко между болотцами, где по влажным берегам росла угонистая разновсячина. Днем пасла ее особо от стада, а на ночь к себе домой пригоняла: то бурачка ей подкрошит, то поилыца соберет. Был у Анисьи припасен чувал отрубей, собиралась поросенка завести, да весь мешок на Ладу и извела.

А там и в колхозе с кормами посвободнело, что-нибудь лишнего да подкинет Ладе. Ну и повеселела коровка, в один год выладнилась, откуда что взялось, и грязь к ней не стала липнуть, как раньше, когда взъерошенная ходила, да и шерсть как-то покорочела, а на лбу даже завиваться начала этакими вензелями, какие и в парикмахерской не уложишь, да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблуках стала ходить. И пошли у нее каждую весну теленочки один другого лучше. И вот ведь удивительно: ничто к ней не приставало, никакая примесь. Отец Зинки с Ромашкою — здоровенный дурила, темные полосы по бурым бокам и и рога — в пору трехведерные чугулки из печи вынимать, тигра полосатая с рогами, да и только. Но Лада упорно ничего этого не принимала, и телятки росли безрогими и светленькими — телатка в телатку сама Лада. Даже Иван Тихонович удивлялся: что за чертовщина, ты, говорит, Аниска, слово какое хитрое знаешь... На выставку послал. А теперь вот фотографируют, породой интересуются. А порода все одна — руками выхоженная.

...Натоптавшись за день до застарелой простудной ломоты в ногах, Анисья иногда присаживалась на скамейку в укромном месте за коровами. За изгородью мельтешила разноголосая публика, гремели музыкой и песнями репродукторы, но Анисья, уже ничего не воспринимая, в первый же день пережив праздничное возбуждение, роняла красные суставистые руки, какие бываю только у доярок и прачек: себе в подол между коленок и забывалась в недвижном покое, а то и просто задремывала. А иногда вдруг начинала томиться всей этой сутолой и высчитывать, сколько ей еще сидеть тут. И принималась думать о доме. Виделась ей деревня: белые хаты по косогору, будто кто расставил пиленые рафинадные кубики. За десять верст светит белым деревня, особенно теперь, по осени, когда воздух ясен и студен. Перед каждой хатой вниз, к синей притихшей речке, забрызганной палой раковой листвою, тянутся полосы огородов: один еще в жухлой зелени — там, где не копали картошку, другие свежечерные, перерытые, и по ним белые крапины гусей. Витка с Галькою теперь тоже копают огород; Витка небось разделся, чертенюк, до майки, пытит, шурует лопатой и все лается на Гальку, чтоб свидче подбирала, потому что ему не хочется после копки еще ползать на карачках и помогать Гальке собирать картошку. Ну, а та не спешит, разглядывает, как всегда, картофелины: то ей поросенок почудится, то баба с головой, с перехватом в поясе. Да и много ли накопают они вдвоем, без нее — дети ведь... А еще и перебрать надо, и посушить, и в подполье засыпать, да и яму на огороде почистить. Мужичье это дело, а какой из Витки мужик — двенадцатый годок: задачки пишет — книжки под себя подкладывает, чтобы повыше сидеть... Никан не хочет ходить в школу, пострел, с ремнем да с хныком, с самого начала нахватав двоек, учительница приходила выговаривать. Ну, а теперь ему без матери и вовсе своя воля...

— Есть горячая кукуруза! За початок — пятачок! За пару — гри-и-венничек!

— Пап, посмотри, какая рогатая корова.

— Какая же это корова? Это бык.

— А что у него в носе? Пап, что?

— Гражданин Метелкин! Вас у главного входа ожидает жена. Повторяю...

...И коровы брошены. Этим-то ничего. Ладе да Зинке с Ромашкою, эти при ней, обожженные, а ведь там еще девять хвостов осталось, окромя своей во дворе. Назначили Нюрку Хмызову доглядать, дак какая Нюрка хожалка: насмотрит — надонт, за неделю коров не узнаешь от такого надсмотра, — ветер в голове. А еще небось ден пять сидеть, руки связавши... Ладно

бы сбегать на ярманку, посмотреть Гальке с Витькою обвuki да так чего, селедок да бубликов, а то все порасхватают к закрытию, и уедешь ни с чем. Скажут, была в городе, а го-стинцев не купила. Хорошо бы вдвоем сидеть: можно кому и отлучиться, по ларькам походить...

Буду петь да тебя целовать —  
Научи на гармошке игра-а-а!

— А вот я тебя побалую за уши... побалуя...

— Кукуруза горячая! Кукуруза!

...Говорила председателю, Ивану-то Тихонычу, чтоб вдвоем с кем-нибудь с коровами ехать. Да нет: а что ты там будешь делать? Сено казенное, общий скотник будет раздавать, воду тоже не таскать, автопоилки по рядам устроены, сиди да посиживай... Не больно рассидишься при людях-то. Поперву хоть сам Иван Тихоныч заглядывал, справлялся. Ты, говорит, книжку отзывов на видном месте держи. Пусть записывают. Любит он, чтоб записывали... А вчера и нынче что-то совсем не казал носу Тихоныч, должно, загулял с начальством, не идет, не спрашивает... И откуда только народ набирается: и валит и валит. Пятый день выставки, а он все колготится. Шутка ли, каждому надо по булке да по куску мяса, сколько всего на каждый день. Люду, как муравьев, и каждому давай... А так все красиво устроено: павильоны, что тебе дворцы или театры, и флаги, и музыка. Отсюда, со скотного, глядеть — и то красиво. Вот бы Витьку-то моего с Галькою сюда, нагладелись бы, набегались. Чудес-то всяких...

\* \* \*

— Ай задремала, девка? Кличу, кличу...

Перед Анисьей выросла грудастая фигура Доньки Матюхиной, телятницы из ихнего района. Ее стойло находилось за быками, на том краю рядов.

Анисья встрепенулась, поднялась со скамейки.

— Чтой-то задумалась... Думки взяли... Дома-то все брошено...

— Нашла об чем горевать. Пошли лучше обедать.

Донька была без халата, в канареечном шелковом плаще, плотно обтягивавшем крепкую центнерную фигуру на коротких толстых ногах. Поверх плаща на могучей Донькиной груди, как на комод, лежала медаль «За трудовую доблесть». Донька человек бывалый, и на выставку приехала с телятами уже по третьему разу.

— Давай собирайся.

— Дах ведь как же...

— Куда они к ляду денутся! Накормлены, привязаны.

Донька, шурша плащом, фасонисто прошлась по стойлу, похлопала Ладу по бокам. Она была в хорошем настроении.

— С тебя вообще-то должно причитаться. За таких коров, вот увидишь, швейную машинку отхватишь.

— Смеешься все. — Анисья развязала тесемки на рукавах халата.

— А я тебе говорю: отхватишь. Лучше твоих коров нынче никто не привез. Так что машинка обеспечена.

— Да за что машинка-то?

— Такса такая: за первое место швейную, за второе — часы, а у кого третье — тому отрез на платке. Не веришь, Марью нашу спроси, она уже четыре машинки отхватила. Каждый раз по «тулке».

— Чудно. Зачем ей столько? Одной хватит, а к ней еще чего б дали...

— Да разве упомнят там, кому что раньше дадено? Я и то двое часов схлопотала. Одни продала, а эти — вот они: тикают, голубчики! Так что давай, девка, собирайся, в ресторан пойдем.

— Куда-а? — Анисья испугалась и перестала развязывать халат.

— Куда, куда... Закудахтала, смотри сне-сешься.

— Ой, да ну тебя с твоим рестораном! Выдумает тоже... Я уж тут перекусила...

— Знаем мы эти перекуски... На зеркальце, причесывайся, а я от народа загорожу. — Донька растопырила полы плаща на жарко-пламенной подкладке, занавешивая Анисью. — Хороший я себе макинтошик подцепила? На ярманке давали.

— Яркий джоже...

— Наплевать. Хоть теперь веселенькое носить. Самые хорошие годочки в серых ватниках прошли... Глянь-ка, как городские одеваются: шляпа не шляпа, пальто не пальто. А мы что, хуже, что ли... Брехня, вот еще шпильки себе куплю. Фу-ты ну-ты...

— Чево тебе не носить, ты еще молодая...

— А ты так старая! — Донька усмехнулась, оглядывая Анисин коротенький плюшевый жакет, из-под которого белел оборчатый передник. — Ты себе тоже плащ купи. Теперь такие уже не носят.

— Это еще от свадьбы.

— И передникними. А то в ресторан не пустят.

— Ой, бес тебя поднес... Не пойду я никуда... Иди сама, если приспичило.

— Я шучу. Пустят. Сегодня наш праздник. Хочешь подкраситься? — Донька вынула из кармана пластмассовый патрончик с помадой и подбросила его на ладони.

— Что ты, что ты... — испугалась Анисья.

— Как хочь... А то давай, разрисую. Глядишь, какой влюбится. Бабий век — сорок лет, а в сорок пять — ягодка опять...

— Ой и брехло ты, Донька!

Анисья наспех прихорошилась, перевязала платок поладнее, пошоркала тряпкой резиновые сапоги и, попросив посмотреть за коровами соседа-старичка, дежурного возле угрюмого бугая с кольцом в ноздрах, побежала вслед за Донькой.

Ветер рвал из рук мальчишек разноцветные шары на нитках, в глазах рябило от всплесков кумача, от яблок, капусты, колосьев и всяких лозунгов и диаграмм, радио играло какую-то хорошую музыку, и к Анисье снова вернулось праздничное настроение, перемешанное со щемяще-сладким испугом.

— Удумает же такое — в ресторан! — восхищалась Анисья Донькой.

\* \* \*

Белый, ажурный, с широкими застекленными верандами на все стороны, с высоко бьющим рассыпчатым фантаном перед входом, весь в гирляндах разноцветных лампочек и флажков, выставочный ресторан гудел народом, как улей во время взятка.

Анисья, невесома от робости, стесняясь взглянуть по сторонам и видя перед собой одну только канареечную Донькину спину, углублялась вслед за ней в дымный гул зала.

Они прошли к только что освободившемуся столу у края веранды с видом на примыкавший к выставке молодой саженный сосняк.

С непривычки робея даже перед ресторанными стульями, Анисья деликатно примостилась на краешке красного изогнутого сиденья и с преданностью и чуткой готовностью поглядывала на Доньку, как будто вся ее, Анисья-на, жизнь теперь зависела от одной Доньки.

Зал гудел. Как на молотье, стучали вилки и тарелки, пушечно выстреливали пробки, пахло жареным луком и кофе, то здесь, то там прокатывались взрывы смеха. Маячили раскрасневшиеся лица, которые Анисья видела будто сквозь запотелое стекло, — не лица, а какие-то жаркие пятна, постепенно таявшие в глубине зала, в дымном табачно-луковом тумане. За некоторыми столиками Анисья успела разглядеть женщин, тоже раскрасневшихся, большинство в пестрых цыганских платках, сдвинутых за спину или распушенных по плечам.

У многих на груди поблескивали медали.

В дальнем углу зала пела в сарафан наряженная певица. Песня долетала урывками, и Анисья видела только, как певица раскрывала рот, будто ей не хватало воздуха.

Анисье было непривычно видеть такое шумное, праздничное застолье, наблюдать сразу столько заслуженных людей, которые так вот просто ели, пили, говорили и смеялись. Будь это не в ресторане, а в простой избе, все это походило бы на веселую свадьбу. Свадебную праздничность всему пиршеству придавали своим бесшумным мельканьем белоллицые улыбающиеся официантки, все как одна в голубых кашемировых платьях и накрахмаленных фартучках. Анисья засматривалась, как они в этой толчее сноровисто и легко, будто плавали меж столами, несли горы тарелок и бутылок на высоко поднятых подносах и при этом улыбались, будто всех знали, любили и были бесконечно рады такому наплыву гостей. Они были все хорошенькие, чем-то похожие в своих кружевных чепцах на подвенечных невест, и Анисье казалось, что не эти невесты должны разносить тарелки, а, наоборот, их самих надо посадить в красный угол, подавать все в первую очередь и кричать: «Горько!»

Есть Анисье уже не хотелось, она вовсе забыла про еду и с пугливо-радостным любопытством смотрела в зал, будто с улицы подглядывала в свадебное окошко.

— Быр-быр... тыр-тыр, — сказала что-то Донька.

Анисья, ничего не поняв, растерянно улыбнулась и в знак согласия кивнула головой. Она была согласна со всем, что говорила или могла сказать Донька.

Донька засмеялась:

— Чего киваешь? Есть, говорю, что хочешь?

— А что ты, то и я.

— Так вот слушай. Я буду читать, а ты за мечай.

Донька разложила перед собой толстую клеенчатую папку и, заправляя пальцами за уши жиденькие завитые кучеряшки, принялась вычитывать названия еды.

— Салат «Выставочный»... Осетрина заливная... Рыба под маринадом... — После каждого названия Донька поднимала глаза и вопросительно глядела на Анисью. — Да ты что палишься по сторонам? Ты давай слушай... Вот отхватишь первое место... Еще и депутатом выберут... Наездисься, нагладисься...

— Да подь ты! Не кричи-то громко.

— Гляди-ка, а вон и ваш Иван Тихоньч сидит. — Донька приставила палец к строчке в меню и указала глазами в зал.

И верно, в середине зала среди незнакомых лиц виднелась похожая на мучной куль туго обтянутая спина Ивана Тихоновича. Он разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, все время вздрагивала, набегая складкой на ворот пиджака. Стол перед ним был завален красными рачьими ошурками, в опорожненных бутылках шевелились и лопались глазастые пивные пузыри.

— А ты знаешь, с кем он сидит? — сказала Донька.

— Что-то не признаю.

— Да с Катькой! Дроновская ветеринарша.

— И правда.

— Гляди, гляди, как он возле Катьки-то увивается, старый хрен... Значит, так... Рыба под маринадом... Чепуха, треска какая-нибудь... Салат из помидоров... Видали мы такие... Вот! Икра черная! Ух ты, елки зеленые! — Донька воткнула палец в буквы и посмотрела на Анисью. — Берем, а?

— Не знаю... Как ты...

— Берем! И шпроты попробуем... Гулять так гулять!

Донька предлагала все заковыристое: выбрала какой-то «суп пити», да еще по ромштексу с луком и с яйцом, да по кофее с лимоном, и Анисья только кивала с удивлением:

— Обалдела девка! Куда сразу столько? Небось на великие деньги замахнулась.

Тем временем певица в сарафане, исполнив еще несколько песен, ушла под нестройные хлопки, и сразу же из-за своего столика пристал Иван Тихонович с обломком рака в руке. Лицо у Ивана Тихоновича просторное, нарощенное с боков и снизу, под подбородком, и все, что на нем было размещено — и круглые, глубоко запрятанные глазки, и вперед устремленный нос, и жесткий посевчик усов, — все кучно располагалось на самой середине лица, в то время как вокруг еще оставалось много пустого, незанятого места. Иван Тихонович простер в зал руку, требуя к себе внимания. Напрыгавшись лицом, побагровев, он низко и сипло запел, поводя перед собой раком, будто дирижерской палочкой:

Есть на Во-о-олге у-у-утес...

Анисья никогда не видела этого вечно насупленного, что-то соображающего человека поющим, и теперь лицо его сделалось каким-то незнакомым. Он пел трудно, с мученическим выражением оттягивая книзу углы рта, — будто не пел, а плакал, — и она сразу же запререживала, проникаясь к Ивану Тихоновичу сочувствием: как бы не осекся,

Улыбаясь, покачивая головой с легким укором, мимо прошла бело-голубая официантка, неся большую вазу с фунтовыми антоновками. Иван Тихонович преградил ей путь, еще энергичнее замахал перед ней раком, приглашая петь вместе. Но та легонько отстранилась, и Иван Тихонович, сконфуженно оглядываясь, махнул рукой и опустился на стул.

Неслышно, как тень, к Анисьиному столику подошла официантка и принялась убирать на поднос грязную посуду. Анисья восторженно и хотела было помочь, но та притронулась к ее плечу и чистым полотенцем смахнула хлебные крошки со скатерти. Потом поправила солонку с переноской, достала из фартучного кармашка чистые вилки и ложки и положила их попарно перед Анисей и Донькой. И пока она это делала, мелькая оголенными руками, Анисья испытывала стыдливую неловкость за свое праздное сидение. Она не привыкла, чтобы за ней вот так ухаживали, и, когда случилось бывать на деревенских празднествах, войдя в избу, первым делом принималась помогать хозяйке.

Пережидая песню, официантка оперлась пальцами правой руки о край столешницы. На безымянном пальце туго врезался перстенок с голубым стеклышком.

«Чистая работа, — подумала Анисья. — Ногти крашенные». И украдкой снизу вверх посмотрела в лицо официантки. Посмотрела, не поверила своим глазам, еще раз взглянула и опешила: «Да неужто Клавдюха?»

— Так... Что желаете кушать? — вежливо спросила официантка совсем знакомым голосом, отчего Анисье стало даже неловко.

Донька начала перечислять еду, водя пальцем по строчкам в клеенчатой папке, а Анисья все вглядывалась и вглядывалась снизу вверх на спокойно стоявшую рядом официантку и все больше про себя изумлялась: «Господи, Клавдюха! Клавдюха и есть!»

— Что тут у вас на второе? — Донька запуталась в меню.

— Из вторых — лангетик, шашлычки по-карски... — с доброй услужливостью отозвалась Клавдюха. — Но лучше возьмите гуся с яблоками — это наше фирменное блюдо.

— Давай гуся, — кивнула Донька.

— Пить что желаете? Крюшон, апельсиновый напиток, соки натуральные, кофе черный с лимоном.

И опять Анисье было странно слышать, как Клавдюха свободно выговаривала заковыристые слова. Хотелось заговорить с ней по-родственному, но что-то мешало, да и сама Клавдюха то ли не узнавала, то ли делала вид, что не узнает Анисью.

Записав заказ себе в блокнотик, Клавдюха забрала грязную посуду и пошла. Анисья посмотрела ей вслед. Шла она легко, часто постукивая тонкими каблучками белых туфель. И опять не верилось, что это та самая Клавдюха, тетки Клепихи дочка.

— Нашенская, — нагнувшись к Доньке, вполголоса сказала Анисья. — Из одной деревни мы... Вместе на ферме работали.

Донька обернулась и проводила Клавдюху долгим пытливым взглядом.

— Скажи пожалуйста... Отойди-подвинься... Что ж не признала тебя-то?

— Может, не разглядела, — с сомнением сказала Анисья. — Столько лет прошло.

— Заелась небось... — возразила Донька.

Анисья посмотрела на кухонную дверь, за которой скрылась Клавдюха, и сказала:

— Неловко как-то получилось...

— Что неловко?

— Да как же... Мы тут сидим, а она прислуживать нам будет... Вроде как барыням. Кабы не наша была...

— Вот пусть и поприслуживает, — фыркнула Донька. — За красивой жизнью погналась.

— Грех вышел у нее. Она и ушла со стыда.

— В подоле притащила?

— Да нет... Молодо мелом разбавила.

— То-то, гляжу, глаза непутевые.

— Судить хотели... А была такая старательная да понятливая. Еще девчоночкой на ферме прибилась. Дома у них было — не приведи господь: раку не за что ухватиться. Все, бывало, на ферме в поддувале скотскую картошку пекла... Я ей и насоветовала в доярки проситься... А оно вон как получилось-то...

— Она и тут небось разбавляет...

— Тише ты, вон она идет, — прошептала Анисья.

Приподняв над кружевным чепцом поднос с тарелками, Клавдюха снова пробиралась между столиками. Анисья выжидательно всматривалась. И, уже подойдя к столу, Клавдюха встретилась с Анисьиными глазами, будто напоролась на острое.

Анисья, сама не понимая для чего, приподнялась со стула.

Они молча смотрели друг на друга, и обе покраснелись от неожиданности встречи.

На расплывшем Клавдюхином лице малиновел напомаженный рот. Ресницы ее были незнакомо черны, от уголков глаз тянулись к вискам полоски, намалеванные чем-то зеленым, а над белым чепцом торчала колна резко-желтых, тоже не Клавдюхиных волос. Все на ее лице было неприятно-чужое, и только глаза, голубенькие кругляшки с удивленно расширен-

ными зрачками, оставались прежними, Клавдюхиными.

— Стало быть, тут ты... — Анисья перевела взгляд на Клавдюхины белые туфли.

— Да вот, видите... — Клавдюха совсем сконфузилась, и глаза ее беспокойно и виновато забегали.

— А я гляжу — ты ли, нет ли... И ты, и не ты...

Клавдюха опустила поднос и, все так же пылая лицом, переживая неловкую внезапность встречи, старательно и как-то даже торжественно расставила на столе посуду с закусками.

— Так, так... — твердила Анисья, не зная, что еще сказать.

— Да вы кушайте, кушайте, — услужливо говорила Клавдюха, поправляя перед Донькой и Анисьей тарелки.

Донька, поджав губы, откровенно и неприязненно разглядывала официантку.

— Принеси-ка нам шампанского, — потребовала она.

— А и правда, выпейте, — оживилась Клавдюха. — Праздник ведь! Сейчас сбегаю...

Она проворно побежала за вином.

— А что? — Донька подпушила свои кучеряшки. — Пусть посмотрит. А то небось думает, кофею ее обрадовались.

— Дак, поди, дорого будет-то?

— Наплевать. Я плачу. Еще сейчас и по полкило мороженого закажу.

Запотелая бутылка с посеребренным горлом шарахнула пробкой из Клавдюхиных рук, яснозолотистое вино закипело в фужерах. Сидевший за соседним столиком грузный, наголо обритый мужчина скрипуче повернулся на бутылочный хлопок.

— Дают колхознички жару! Какого района будете?

— До нас сто верст шляхом, а там то рысцой, то шагом. — Донька выпила фужер шампанского одним духом, как самогонку.

Мужчина захохотал так, что на пиджаке зазвякали медали.

— Давай перебирайтесь сюда, в мой колхоз, — сказал он, отодвигая на столе тарелки.

— Мы сами казаки с усами, только сабли не пристегнуты.

— Ай да девки!

Анисья тоже глотнула. Шампанское зацепало в носу, слезой ударило в глаза. Она поддела вилкой смуглую шпротину в зеленом крошеве лука.

— Может, выпьешь с нами, — сказала Клавдюхе.

— Глоточек за встречу выпью, — согласилась Клавдюха и подтянула к столу незанятый



стул. — Я на одну секундочку только. Там ведь еще четыре моих столика.

Опять вышла певица, на этот раз в блескучем черном платье и черных до локтей перчатках. Позади нее выстроились три музыканта, одетые в одинаковые белые пиджаки, с черными бантами под шеей. Замурлыкал аккордеон, и один из музыкантов принялся постукивать чем-то похожим на детскую погремушку с грохом.

Клавдюха убежала на кухню за обедом. Дonya снова разлила шампанское.

— Мне бы хватит... Доить еще... — запротестовалась Анисья.

— Ладно тебе... Держи свою марку.

Анисья отхлебнула три жарких ложки супа и распустила под шеей концы полушалка. Дonya налила себе еще вина и выпила дочиста... Глаза ее блеснули.

В глубине веранды пели что-то быстрое, веселенькое:

А парни все разборчивы,  
Придирчивы ужасно.  
И остаюсь у стены  
Пришедшие напрасно...

Певица, пощелкивая черными перчаточными пальцами, подходила то к одному, то к другому музыканту, и все, улыбаясь ей, кивали одинаковыми черными головами с одинаковыми проборами.

Стоят девчонки, стоят в сторонке,  
Платочки в руках теребя,  
Потому что на десять девчонок,  
По статистике, девять ребят.

— Веселая у тебя работенка, — не то позавидовав, не то подковырнув, сказала быстро захмелевшая Дonya. — С музыкой.

— Ой не говорите! — Клавдюха закрыла уши ладонями. — Так за вечер наслушаешься! Придешь домой, а в ушах все музыка гремит. Мы тут временно, пока выставка, а в будни я в городском ресторане работаю. Так там до самой ночи.

— Музыку стерпеть можно, — сказала Дonya, разглядывая то Клавдюхин чепчик, то зеленую подкраску на глазах. — Я б всю жизнь под музыку телят выхаживала...

Клавдюха промолчала и, опустив ресницы, принялась катать на столе хлебный мякиш.

— Пойду за столик получу, — сказала она, вставая.

— Вот ведь как... — вздохнула Анисья.

Она задумалась, подперев кулаками щеки.

— Гляди-ка! Иван-то твой Тихонич, — кивнула Дonya.

Иван Тихонович и Катька сошли с веранды и, обогнув ту ее сторону, где у края сидели

Анисья и Дonya, побрели прочь от ресторана. Иван Тихонович, нетвердо ступая, держал Катьку под локоть и все говорил ей что-то на ухо, зарываясь усами в ее волосы.

— Ай, комедия! — Дonya шурилась на них, горя колючими глазами. — Пошли малину собирать. Кино прямо!

Вскоре сосед переманил Дonya за свой стол. Она забрала гуся с яблоками и пересела. Сосед оживился, вызвал Клавдюху, заказал коньяку и плитку шоколада.

— И еще что-нибудь этакое... — Он побренчал в воздухе пятерней. — Фруктов, фруктов...

Дonya хмельно хохотала и делала из-за спины соседа знаки Анисье: дескать, почему бы не погулять.

Анисья качала головой и стыдливо отворачивалась: ох уж и баламутка...

Клавдюха прибрала им стол и принесла заказанное угощение: графинчик с коньяком, шоколадку и большой полосатый арбуз.

Придерживая рукой вершок, Клавдюха ловко расхватила арбуз вдоль полосок так, что он при этом не развалился, а только пустил розоватые слезки по надрезам. Но когда она убрала руку, арбуз мгновенно раскрылся алым цветом на черном подносе.

Анисья невольно подивилась Клавдюхиной ловкости.

«Тоже, видать, проворность нужна», — подумала она.

Разрезав арбуз, Клавдюха опять под села к Анисьному столику.

— Значит, на выставку...

— Да вот все с коровами. Трех привезли.

— Не бросаете...

— Да уж куда теперь бросать. Теперь уж до пенсии.

— Да-а...

Разговор не вязался. Но Клавдюха не уходила и в раздумье переставляла на столе пустой фужер.

— Мама-то твоя померла, — сказала Анисья.

— Знаю. — Клавдюха потупилась.

— Похоронили мы ее... У прудовой стежки положили.

Клавдюха прикрыла глаза рукой, губы нервно задвигались под ладонью.

— Ну будя, будя, — тоже расстроилась Анисья. — Ничего все, ничего обошлось... Вот, гляжу, обута-одета. Тут столуешься али как?

Клавдюха, не отрывая руки, кивнула.

— И то ладно. Копейка лишняя задержится.

— Все у меня есть, тетя Анисья, — всхлинула Клавдюха. — И тряпки, и сыта...

— Ну будя, будя...

В зале застучали вилкой по графину.

Клавдюха вздрогнула, быстро достала платочек, вытерлась и побежала на зов.

Анисья видела, как она раза два проходила между столниками, шла, как и прежде, легко, приветливо прося посторониться, улыбаясь, и в своем казенном бело-голубом наряде снова походила на счастливую невесту.

\* \* \*

Из ресторана Анисья выходила одна: Донька осталась досиживать с тем самым бритым соседом.

«Баловство все это», — с осуждением думала Анисья о себе, вспоминая, как Донька выложила за обед красненькую.

Клавдюха не хотела было брать с них денег, говорила, что, мол, все это пустяки, не стоит беспокоиться, но Донька и слушать не пожелала. Она сунула десятку в карман передника Клавдюхи и отвернулась с неподступным видом.

После ресторанной дымной сутолоки на площади было свежо и просторно. Анисья невольно задержалась на ступеньках. Перед ней из фонтана бил толстый жгут воды. Водяная пыль от фонтана долетала до самого крыльца и приятно холодила разгоряченное Анисьино лицо. Радио играло «Амурские волны», и было радостно и в то же время почему-то грустно слушать эту красивую музыку.

— Чтой-то я загуляла нынче, — вздохнула она и сошла со ступенек.

И, вспомнив про своих коров, она торопливо пошла вдоль павильонов. Витрины и стеллажи ломились от всякой всячины, но она нигде больше не задерживалась и, поглядывая на низкое солнце, думала о том, что скоро опять начнут раздавать казенные корма и ей надо успеть к раздаче, чтобы коровам положили сена как следует.

После праздного сидения в ресторане мысли о предстоящем деле — раздаче кормов и вечерней дойке — доставляли ей даже тихое удовлетворение.

— Баловство все это, — повторяла она, шагая и с упреком думая о выпитом шампанском. — Целую пенсию просидели...

Лада еще издали заметила Анисью и нетерпеливо и обрадованно замычала.

— Иду, иду, — отозвалась Анисья, затворяя за собой калитку загона и на ходу снимая со стены халат.

Солнце опустилось за павильоны. Быстро за вечерело. Включили лампочки. Народ еще потолокся немного и стал постепенно расходиться. Репродукторы объявили о закрытии выстав-

ки и смолкли. В наступившей тишине стало слышно, как на другом конце скотных рядов скрипела телега и сердито тпрукал на лошадей скотник: начал развозить вечернее сено.

Получив свою порцию и засыпав сено в подвесные кормушки, Анисья немножко посидела на своей скамейке. Она сидела и прислушивалась к тому, как где-то за выставкой, за темной стеной саженных сосен все еще бурливо и неутомонно шумел город: выстукивали колесами трамван, что-то пытело и шипело паром и еще что-то непрерывно и пчелино гудело — то ли от перепутанных проводов, то ли от скопления народа.

Посидев так еще минутку, Анисья устало приподнялась и не спеша принялась готовиться к дойке.

Она опростала сперва Ладу, потом Зинку и уже заканчивала доить Ромашку, как вдруг почувствовала за своей спиной чье-то присутствие.

Анисья обернулась.

Опершись о калитку, плохо различимая в тени навеса, стояла женщина, видимо, уже давно наблюдавшая за ее работой. Анисья подумала, что это возвратилась из ресторана подгулявшая Донька, но женщина негромко отозвалась, и Анисья узнала Клавдюхин голос.

— Донте, тетя Анисья? — спросила она с робкой уважительностью.

— Да шабашу уж...

— А я с работы. Думаю, дай забегу...

Она просунула сквозь решетку руку и поворачивала в кормушке сено.

— Да ты заходи, — сказала Анисья. — Я сейчас...

Клавдюха несмело вошла в калитку. На ней было легкое голубое пальто и тонкая паутинно-прозрачная косынка поверх высоко взбитых волос.

— Хорошо тут у вас, — вздохнула Клавдюха и теплым взглядом окинула нехитрое Анисьино хозяйство: ведра на гвоздях, вилы, стирающую марлечку на веревке у задней стены. — Сено хорошо как пахнет...

Она остановилась позади Анисьи и задумчиво глядела на ее быстро мелькавшие под брюхом коровы жилистые руки. Колкие струйки глухо зарывались в нежную пену переполненного подойника.

— А кто ж еще из наших? — помолчав, спросила Клавдюха.

— На выставке-то? Да кто... Иван Тихоньч...

— Видела я его. Каждый день на веранде сидит.

— Признал-то хоть?

— Узнал! Все предлагал выпить на мировую. Дескать, строго тогда было...

Анисья промолчала.

— А я не только выпить, а и смотреть на него не могу, — тоже помолчала, сказала Клавдюха. — Столько потом натерпелась. И в когнечевала... И на вокзале... Как тогда из дому ушла... И в няньках была, тарные ящики сколачивала, асфальт заливала, пока ногу смолой не ошпарила... А сколько углов по чужим домам да по баракам пересчитала. Верите?

— Да уж известное дело — не дома, — сказала Анисья.

— Бывало, уткнусь в подушку и реву. Даже матери не писала, чтоб не знали, где я и что... И вас, тетя Анисья, поди, тоже ругали за меня. Наверно, сердитесь на меня.

— Ну да что ж теперь толковать... — Анисья поднялась со скамейки и принялась процеживать молоко во флягу.

Делала она все с той спокойной и уверенной сноровкой, с какой Клавдюха в прошлый раз разрежала арбуз. И Клавдюха, в свою очередь, тоже загляделась на Анисью. От широкой струи, округло сбегавшей из подойника во флягу, тонко запахло парной молочной свежестью.

— А коровки у вас хорошие, — уважительно сказала Клавдюха.

— Да это же Лада твоя. Помнишь Ладуту?

— Да неужто?

— Она, Клава, она.

— Ой, да какая ж она стала. Да какая же...

Клавдюха робко прошла между коров к кормушке.

— Неужели Лада? Тетя Анисья?

— А это вот дочки ее, — сказала Анисья. — Правда, похожи? Ромашка и Зинка.

— Ой, да надо же! — не переставала удивляться Клавдюха, то поглядывая на коров, то на Анисью. — Лада! Лада! — позвала она, дотрагиваясь до кучеряшек на лбу коровы.

Лада долго обнюхивала Клавдюхину руку, тычась влажной розовой губой в ладонь, потом шумно выдохнула воздух и, отвернувшись, принялась поддавать мордой сено в кормушке, отыскивая какие-то одной ей известные лакомые былинки.

— Не узнала, — растерянно сказала Клавдюха. — Разве всех упомянешь... А я ни капельки себе тогда не брала. Ну вот ни полстолечка... Верите? А Иван Тихончич как окрысился... А я ведь как думала... Думала, замедлят у меня молока побольше и муки набавят. Всем коровам дают, а моим не дают. А мне самой — зачем? Сколько лет прошло, а все обидно...

— Не то важно, Клава, что про тебя говорят, — сказала примирительно Анисья. — А то, что про себя знаешь. Душа святая — свят и день...

Они долго еще сидели в загоне на Анисьиной доильной скамье. Коровы неторопливо, монотонно пережевывали жвачку. Возле фонаря перед стойлом кружились поздние осенние бабочки. Было тихо, и они, подчиняясь этой тишине, тоже разговаривали вполголоса, почти перешептывались.

— А кто ж еще из наших?

— Да кто... Варька Зобова.

— Какая Варька?

— Да что с выселок.

— А-а... Я ж с ней вместе училась. В пятый ходили. Скажи ты! Тоже тут, значит...

— Ага, тут... С капустою.

— Хоть бы посмотреть на нее.

— Зайди, повидайся.

— Не узнать, поди... Сколько лет прошло.

— Уже двое детей у нее. За Пашкой Калабухом замужем.

— За Калабухом?

— А что... Какой стал парень! Действительно отслужил. Теперь в колхозе по моторам. Дом построили, все под масло. Хорошо живут... А еще Ванек Стукалин тут. У того просо хорошо уродило. Да агроном с ним, ты его не знаешь, новенький он у нас... Приезжай летом, погостуй.

— Говорят, получшало теперь.

— Да подладилось... И равнять с прежним нечего...

— У нас небось теперь паутина летит по лугам, картошку копают...

Высоко на белых шестах дремали уставшие за день, наплескавшиеся флаги. Пересвистывались сторожа...

Прошел пятый день осенней выставки.

## ВАРЬКА

Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, пугалось в пухлых травяных пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлопала и взбрызгивалась парная, цвелея вода. Комары столбом толкались над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам,

темным и худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

— И шток я в другой раз вместо кого осталась! — кричала она злым, грубым голосом. — И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

— И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не разбирала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом преддверном небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кистетом.

— А иди ты... — досадовала на него Варька. — Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сдать птичник на скорую руку — для пробы. «Так — дак так, а не так — дак и ладно», — приговаривал он, размечая бугор саженой — откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый, безглазый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.

— Срамота-то какая! — донимали Парашечкина птичницы, когда тот появлялся на озе-

ре. — Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник и вдруг, побагровев, начинал ругаться:

— Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюды двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что киле птицы обернется, дуры!

— Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегашься.

— Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пискунцов, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе, казенные харчи, правда, тоже были подходящие, подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруглять дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще наведывался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающее говорил:

— Вы уж, девки, давайте пощурите эту недельку. Чтoб все по высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо: грамот... — он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающее поглядывал на птичниц, — так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток распахивали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упивавшееся утиным духом, шастали лысы. Весной же он одиноко торчал на бугре, со всех сторон облитый полый водой.

Варьку на птичнике называли приبلудной. Она объявлялась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утятя.

«Ой, да какие же они!» — загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сминают девуку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили своего дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улупетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпичей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных беспомощных пискунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер. Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибежала к озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

— Ой, девчата, не могу! Какие же они хошешенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на «газике». Но вместо него неожиданно прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Сашка прибилсЯ к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда, еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь — глубокие резиновые старшечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно

пустыми. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин не отказал и принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей и красным уголком, и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогли сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные, не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеиваясь, кивали:

— Сеять да пахать — не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыклась, привыкла и к ней. Она оказалась неназойливой женщиной, без нарочитой цыганской нахалинки, на свинарнике работала с молчаливым терпением — одним словом, баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное, бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился перед новым законом, не сдал коня государству, а в необдуманной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать волю в Молдавию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда ж ей с мальчонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским: Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, носку смыгал!» — выкрикивал из-за плетня какой-нибудь сопливый беситанный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки девчонки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пугая друг дружку

Сашкиной неверностью, уговаривались «ни за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и не враждебно, но настороженно и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужчин и все дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в вечерке же по причине его неграмотности не нашлось начальных классов. Ради него одного учреждать изначальное обучение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому.

Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего колеса на корточках.

— Девчата, шестимесячный приехал! — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковину. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутывавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесаному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.

— Саш, продай бигуди, — притворно серьезным тоном сказала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томилась знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

— Какие бигуди? — не понял Сашка.

Девчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

— Он их на конюшню отнес, — встала Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. — Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.

— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсылаешь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и сразу дурочками становятся.

— Ты и без зелья дурочка, — огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

— Ты чего за спины прячешься?

— Девки, да она краснеть научилась...

— Хорош парень, а?

— Одни глаза чего стоят!

— Берегись, Варька, они глазливые!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

— Отдай накладную, — нахмурился Сашка.

— Погоди! Куда ты спешишь? Побудь с нами.

— Сашечка, сплясал бы, что ли!

— Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудодень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

— Сперва спляши...

— Дай, говорю! Я на работе, поняла?

— Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно и дико озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покатыл прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

— Ой! — спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером. — А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть.

Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давнее и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.

— Пойдем, чегой-то скажу.

— Чего еще? Небось подежурить?

— Ага, Варь, золотце, побудь за меня!

— Больно нужно! — Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непреклонно обхватила ее за талию, прижала к своему мягкому и теплому бедру.

— Варь, ну ладно тебе... Ты что, в кино собираешься?

— А хоть бы и в кино.

— Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.

— А тебе больно нужно?

— Сама знаешь... Ну просто аж душа сохнет. Ну, хочешь, я тебя поцелую?

Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пылливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбочкой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было чем-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще-сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, и к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила.

— Побудь, а, Варь... — вкрадчиво шептала Ленка. — Дай доходить... Теперь уж недолго осталось...

— Да что ты на меня виснешь! — Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. — Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу.

— Варь, ты же хорошая, чего же ты орешь дурным голосом?

— Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!

— Тебе уже пора за собой последить. Вон как давеча на тебя Сашка глядел... Парни — они все примечают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты орешь как скаженная...

— Больно нужен мне твой Сашка! — протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность.

Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому, высохшему бугру.

— Вот чумовая!

Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку, и она, подкравшись, виновато сказала:

— Ладно, иди уж...

Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сдавила своими цепкими, удушливыми ручищами.

— Опять тискать! — завопила Варька, задыхаясь в сдобной Ленкиной груди. — Чуть что — прямо на ше...ю. Гляди, промахнешь...ся... не на ту повиснешь...

— Ах ты, язва сухоребра! — взвизгнула Ленка.

— Уйди, говорю, а то ушибу!

Варька, вскидывая колени, начала топтать, норовя наступить Ленке на ноги, та неуклюже запрыгала, отдергивая ступни, запнулась о ко-

рыто, и они шлепнулись и раскатились, хохоча — Ленка тоненько, молодым барашком, Варька раскатисто и басовито.

Ленка стала собираться. Она стащила старенькую блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней сорочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущаясь Варьки, в сознании собственного превосходства, неспешно оглядела самое себя и, поглаживая нежно-розовые соски, попросила полить умыться. Варька с готовностью подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место, где темный загар от выреза воротника четко переходил в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно придыхала от ледяной ключевой воды, поводи-ла латыми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была приятна эта здоровая и красивая Ленкина нежность, которой она искренне и открыто завидовала.

— Лен, а ты справная! — сказала она и тут же, отвернувшись, трижды поплевала себе под ноги.

— Тоже... выдумашь! — передыхая, отозвалась Ленка.

— Ей-богу, Лен!

Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопалась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька неотступно ходила следом.

— Варь, застегни.

И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопко застегивала настоящий лифчик, туго перерезавший Ленкину спину узкой белой полоской.

Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов: как Ленка неспешным движением плавных, красивых рук расчесывала влажные после умывания волосы, встряхивала и откидывала распушенную голову, как прищипывала комочком ваты, будто крестьян, — сначала на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе щеки — душистую пудру, как потом, растерев ее прирученными движениями, облизала запырошенные губы, вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как послушила палец и провела по бровям, словно расправила два птичьих крыла. От всего этого Ленка сразу нескazanно похорошела, и никак нельзя было подумать, что совсем недавно она месила утиные отруби. Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой и что, если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумачи сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шипозник, а потом,



после кино, отиралась бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне, с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.

— А целоваться будешь? — жарким шепотом спросила Варька.

Ленка, сощурилась, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула:

— Ну и дура же ты!

— Нет, Лен, правда?

— Отстань!

Ленка ушла.

Прислонясь щекой к дверной притолоке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошагьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом.

Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо облепившие ее базарно горлающие утиные шеи, поддавая под них ногой, чтобы расчистить корыто, Варька вываливала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились галдеж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, потом гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки, волоча зобы, разбредались от корыт, начиналась чистка перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивалось. Спрятав головы под мышки или зарыв носы в грудастые, распушенные зобы, улегшиеся утки недвижно белели в загоне плотной булыжной мостовой.

Тем временем Варька, перевалившись через край, задрав голые, искушенные комарами ноги, выскребала и споласкивала котел, потом таскала воду, чтобы утром, к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет голодный крик, снова заполнить корыта свежей мешанкой.

После молчаливого ужина за тесовым столиком возле тракторной будки Емельян, неспешно выкурив самокрутку, полез, побряхтывая, в свою каморку, прилаженную сбоку к балагану, такую же беззаконную, соломенную, с узким лазом, выставленную сухой осокой.

Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разнаряженной и откровенно счастливой Ленки, возбужда-

жившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому ненужности и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то делать с собой. Солнце уже зашло малиновым шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зарылось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная сумеречная синева. На ближних и дальних старицах лениво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.

Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг — и этот соломенный балаган, и вытоптаный выгон, и разбросанные по нему корыта — начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью.

Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и wygrебла себе в подол зеркальце, причудливо огаженный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, поворачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру и мазнула ватой по облупленному редисочному носу.

Нос мучнисто-бело проступил на темном остроконечном лице, и тогда Варька, будто испугавшись, стала торопливо заляпывать все остальное. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое большеотое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще, со злобной растяжкой сказала:

— У, зан-и-нуда!

Она выскочила из будки, сбежала к озеру, сдернула через голову сарафан и выпшгнула из трусов. Берег был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька голышом, горбясь, побегала вдоль берега к круче и с ходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбурлился пенный бурун, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, трогавших ее живот мягкими, вкрадчивыми лапами, и вы-

нырнула далеко от берега, задохнувшись, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми саженками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись только нос и подбородок да еще два бугорка грудей, то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.

Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине на недвижно замерших кучеряшках облаков еще рожовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подrumяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосознаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревни, все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости:

Кавказ подо мною. Один в вышине  
Стою над снегами у края стремнины.

И так же нараспев, затажно выкрикнула:  
— Я-я-я! Эге-ей!

Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь, Лилии волочились

за ней на длинных гибких стеблях, концы которых Варька придерживала зубами. Она любила делать из них мониста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце.

Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Помидоры еще хранили в себе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания, радовалась этому живому теплу, некоторое время держала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом, надавливая большими пальцами на черенковую ямочку, разламывала пополам. Положив половинку в рот, она запрокидывала голову, досыдала щепотку соли и, пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, радуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались туманы. Сизое курево проступало откуда-то из низин, сложилось тонкими лоскутами, обозначая все неровности земли, старицы и ложбины. Постепенно туманы перемещались с загустевшей сумеречной синевой, упрятались горбатые спины стогов, темные островки лозняка, далекие деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы, скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и пропал из виду горизонт, раскованная перед сном, отпущенная на волю земля беспредельно разбегалась во все стороны, таинственно уходила краями в глубину ночи и простиралась перед Варькой в величаво-спокойной тишине и безлюдье.

Варька доела помидоры, легла на живот, подперла голову кулаками. Она лежала просто так, умиротворенно глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти минуты приходила ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простиравшейся вокруг нее. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они манили ее своей новой неизвестностью, когда даже стог, много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и легким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшемуся счастью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге и держать настороже свое тихо и

радостно бодрствующее сердце, учащенное острым ощущением бытия.

Между тем взошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просяном поле глухо заворочался трактор — начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, света себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалека на поворотах.

«Сбежать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь.

Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просяное жнивье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахать просо, и некоторое время шла следом, по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг, заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал, и Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старцы запутанными петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. Только немногие питали себя подземными ключами. Но Варька еще издала определяла их по лягушачьему кваканью. Низины до краев были заполнены серебристым при лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжащие росой заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли колосками и спеша поскорее выбраться на открытое. А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым страхом удивлялась самой себе, как это она прошла через этот распадок, такой жуткий и затаенно-невидимый под седой гладью тумана. Уже неподалеку от костра в

одной из таких низин Варька повстречала лошадей. Они паслись на дне, под туманом. Были слышны только сочное хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой пелены то проступал темный круп, то показывалась поднятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин, и тогда они казались Варьке фантастическими чудовищами, что бродили по земле в далекие времена.

У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, что это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы.

Варька поглядела по сторонам, застая от света ладошкой. Удивленно хмыкнув безлюдью, она приподняла сарафан, подставила под горячий дым мокрые озябшие колени. Мерин за ее спиной переступил несколько шагов, потянулся шеей, стал обнюхивать и тыкаться мягкими губами в Варькины лопатки, обдавая теплым травяным дыханием и щекоча шеей усатой мордой.

— Отстань, дурак, — незлобно передернулась Варька и, обернувшись, увидела бредущего к костру человека.

Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности.

Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятым ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь, и ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерка, не думала ни о ком и ни о чем и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобокого сматения. Тотчас припомнился внимательно-тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки и который Варькина память помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах — припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно.

Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь чернотой

обнаженных рук и плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сущняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медно блеснул лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыкастые зубы.

Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась.

На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было, и это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку.

Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженый путь к озеру, через отяжелевшие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и он притягивал изыскшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивала вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела по другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплывавшим пламенем.

— А ты чего тут?

Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь.

Внутренне холодея, ожидая какого-то страшного гипноза от Сашкиных сливово-черных глаз, чувствуя, что деревенеет лицом. Варька, однако, выдержала взгляд. Сашка отвернулся первым, и она сказала как можно небрежнее:

— Костра, что ли, жалко?

Охватив колени руками и чуть откинувшись, она с независимым видом стала следить за искрами, торопливо, в неверном, трепетном лете исчезающими в темноте.

— Куда идешь?

— Кино смотрела, — соврала Варька. — На птичник иду.

— Тут дороги нету.

— А я напрямки.

Сашка покосился на мокрый подол сарафана.

— Смелая...

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он натолкал в чайник.

— Чай кипятить? — дружелюбно спросила Варька.

Сашка хмуро усмехнулся.

— Зелье завариваю.

Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичник, а может быть, заодно и на нее тоже.

Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и не спеша выкладывал их колодезь по бокам чайника. Огонь то вспыхивал, жадно набрасываясь на одеревелые былки прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила вокруг костра, отступая перед огнем на несколько шагов и снова сужая круг, и тогда Варька спиной чувствовала ее влажное прикосновение. Глядя, как Сашка, большеголовый от непроглядной черни спутанных завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой сосредоточенностью возился с чайником, взбодураженная всей этой таинственностью глухого, затерянного места, она и сама была готова поверить, что он на самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдовское. Но она только передернула плечами:

— Так уж и зелье...

— Не веришь?

Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой:

— Дай попробовать.

Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не спеша, с какой-то устрашающей медлительностью нацедил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку в траву рядом с Варькой.

— Дурочкой станешь, — предупредил он, насмешливо блестя глазами.

— Так уж и дурочкой! — передернула плечами Варька. — Держи карман!

Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожко губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий кипятком.

— А, испугалась! — Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.

— И ни чуточки! — сконфузилась Варька.

— Видел, видел! — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.

— Подумаешь! Обыкновенная смородина. — То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку. — Думаешь, не знаю, где рвал? Возле Белых ключей. А я знаю, где ежевика.

— Сам знаю.

— А терн?

— Какой такой терн? — не понял Сашка.

— Синяя ягодка. С косточкой.

— Колючий такой? Знаю. Сколько хочешь.

— А свербига где, знаешь?

Сашка замигал мохнатыми ресницами.

— И не знаешь! — обрадовалась Варька. Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, поглядывая на Сашку сквозь душистый парок и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.

Сашка достал кусочек пиленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки.

Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за лепешку. Лепешка оказалась свежей, с хрусткой, поджаристой корочкой, и было вкусно запивать ее смородиновым чаем. Первая сковывающая робость перед Сашкой прошла, да и сам Сашка больше не смотрел на нее с пугающей, мрачной настороженностью, и ей стало легко и хорошо.

Примечая в Сашке все цыганское — его буйную черноту волос, дикий, летучий взгляд, гортанную картавость речи, все то, что вызывало у деревенских девочек непонятную ей самой настороженную неприязнь, Варька поглядывала на Сашку с добрым участием, дивясь его притягивающей необычности. К нему как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворотах штаны, и жарко-красная майка, и этот огонь, игравший на каштаново-черных плечах влажными блуждающими бликами, и даже сама ночь, которую он коротал неспешно и деловито.

— Саш, а ты откуда? — спросила она, думая о том, где он жил и вырос до того, как обаялся в деревне.

— Как откуда? — не понял Сашка.

— Ну, где жил раньше?

— А нигде...

— Как это?

— А так... Ездил.

— Ну, а родился-то ты где?

— А не знаю, — сказал Сашка с небрежным безразличием. — Тебе зачем?

— Так просто... Чудно как-то...

Та его жизнь была для Варьки загадочной и непонятной и казалась зря потраченной.

— И в школу не ходил?

— Какая школа? Говорю — ездил...

— А что делал, когда ездил?

— Что делал, что делал... Когда дождь — из кибитки смотрел. Когда вечер — у костра сидел. Когда на базар ходил — плясал. — И, усмехнувшись, добавил: — На пузе, на голове...

— Как это? — удивилась Варька. — Показки.

— Что ты как муха... жж-жж... Чаю — дай, как жил — скажи, плясать покажи... Музыку надо. Я без музыки не могу.

Варька пошарила позади себя рукой, нащупала узкий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях родился негромкий бархатистый звук. Белый конь приподнял жесткие изогнутые ресницы и сторожко шевельнул ушами. Набрав побольше воздуха и раздув щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, покачиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая ладошки и весело посмеиваясь одними только глазами. Лисохвост пел совсем как дудочка — нежно и чисто.

Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал, губы его непроизвольно раздвигались и раздвигались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка. И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, он подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся ладошками по коленкам.

— Давай.

В следующее мгновение он уже восторженным бесом выстукивал пятками, прищелпывая и прищаркивая длинными обтопанными штанинами, бубня себе под нос какие-то слова, то ли просто так балабона языком.

Варьке было забавно и весело глядеть, как в красных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, колотил себя с неистовой яростью то по выпяченному животу, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся, уткнул голову в траву и, упершись в землю руками, задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих прыжков, Сашка опрокинулся на живот и, изогнувшись рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы. Наконец он подскочил, часто дыша и улыбаясь открытым ртом.

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

— Чего смеешься? — спросил Сашка, сам хохоча и пьяно пошатываясь. — Тут плохо... трава мешает... И давно не плясал... разучился малость.

Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняка.

Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр... Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать. Вот даже ни капельки! И Варька, тихо посмеиваясь, загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян пройдет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь кружево тонких метелок в небо, вдруг

проступившее после костра. Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленными конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.

Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.

— Не надо, — тихо попросила Варька. — Давай посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.

Они молчали, прислушиваясь друг к другу.

— Это твои лошади в логу? — спросила наконец Варька.

— Мои. А что?

— Просто так... Мало их осталось.

— Четыре пары. И две на конюшне.

— Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?

Сашка захрустел вязанкой.

— Я на трактор уйду, — глухо сказал он.

— На трактор так не возьмут. Надо учиться.

— А сколько надо? — с боязливой надеждой отозвался Сашка.

— Семь классов.

— Семь? Много... А у тебя сколько?

— Девять...

— Девять! — не поверил Сашка.

— Сдам уток — в десятый пойду.

— Зачем тебе столько?

— Не знаю... Буду уток считать, — засмеялся Варька.

— А у меня только два, — не сразу ответил Сашка. — Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил. Про трактор. Когда коней пасу — картинки гляжу. А слова не понимаю.

Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.

— А ты пока сказки читай, стихи, — посоветовала Варька. — Тогда и про тракторы поймешь.

— Я читаю...

Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.

— Вот...

Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название, — одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то не-

уловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одна та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.

— Эту читать легко. — Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы. — Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.

— Александр Пушкин, — поправила Варька.

— Н-нет! — Сашка упрямо тряхнул кудрями. — Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел — цыган.

Варька вовсе не собиралась уступать Пушкину, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину навивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:

— Это тоже Пушкин написал...

И негромко, бережно отставив друг от друга слова, сама заворачиваясь торжественностью вещей стихов, стала читать «Памятник».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык.  
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий  
Тунгус, и друг степей калмык.

— Пушкин — он для всех, — сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.

Сашка молчал, задумавшись.

В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестя горным слежалым снегом.

— Давай покатаемся, — сказала, радостно замирая.

— Ты что?

— Давай, Саш! Смотри, как хорошо!

Сашка промолчал.

— Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.

— Ты что, дурочка?

— Ничего ты не понимаешь.

Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, копытным прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе.

— Догоня-а-ай! — донесся ее азартно-радостный голос.

Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-седые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув толкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обобленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к широкой вольтнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов.

Оглянувшись, Варька с жутким замиранием приметила позади себя на залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакая до первых выступавших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлопала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь, разорвалась на маслено-золотые ломти. Крепко ударил изпод копыт запах застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прихнул в сторону. «Не бойся, не бойся, родненький!» — приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и хлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.

Едва переводя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, по-щечаясь скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую.

Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицепа, старалась удерживать плывавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.

Сашка нагнал ее у самого просяного поля.

Варька услышала за спиной топот и тяжелый, отрывистый вскрип Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.

— Ну?.. Ну?.. Догнал? — задыхаясь и давась словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно в горячистости обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. — Будешь еще? Будешь?

— Пусти! Сумасшедший!

Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.

— Да ты... что?! — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.

— А зачем убегала? Зачем? — горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. — Думала, не догону, да?

Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.

— Потому что цыган, да? — глухо пробормотал Сашка.

— Потому что... дурак!

Не оглядываясь, Варька рысцей побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, студя росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками.

«Чего ж это он? — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. — Чего ж я-то?..»

Она выбежала к просянному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле оочевенные ступни.

На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке изпод горячего, брошенной на закраине поля, и держал в поводу обеих коней — белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.

Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались недвижными и чужими.

Наконец она выбралась из борозды и, набредая на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала нехотку, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, закигаясь горячей радостью бега.

Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загону.

— Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? — ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. — Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?

«Сказать Ленке или не сказать?» — уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прошептала:

— Низачтошеньки!

Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.

## ПОРТРЕТ

Соловьи, соловьи, не тревожьте  
солдат.  
Пусть солдаты немного поспят.

*(Из фронтовой песни)*

Директор нашего краеведческого музея, узнав, что я собираюсь провести свой отпуск в Отраде, упросил меня написать портрет тамошнего председателя Зотова. И вот, захватив с собой краски и этюдник с холстами, я весь вчерашний день проторчал возле колхозной

конторы в надежде подкараулить Алексея Максимовича.

Перед конторой рос молодой тополевым парк. Аллен тремя лучами разбегались от круглой клумбы, жарко пламенившей гвоздиками. Я устроился на одной из планочных скамеек в самом начале аллеи. Отсюда хорошо было видно кирпичное здание правления с двумя колоннами по бокам еще не окрашенной двери. Из распахнутых настежь окон доносились щелканье костяшек, урчание арифмометра. Иногда звонил телефон, в окне мелькала белая рубашка счетовода, и вслед раздавался его недовольный голос:

— Я вам уже говорил — председателя нет... Кто же его знает, где он. Колхоз велик... Что? Откуда я могу знать? Сами ждем.

На этот раз трубка сообщила, очевидно, что-то важное, потому что счетовод вдруг смягчился:

— Подождите минуточку... Коммутатор! Коммутатор, дайте третью бригаду... Третья? Там у вас нет Алексея Максимовича?.. Звонят из райпотребсоюза насчет яблок. Грозятся закупить в «Красном луче», если мы будем медлить... Уехал? Прямо беда с ним! Тут все уши обормали телефонами. Увидишь — скажи, что звонили насчет яблок.

Я слушал телефонные звонки и все больше терял надежду дождаться председателя. Искать же его по полям было бессмысленно. Да и где его найдешь?

Раза два в аллею заглядывал колхозный сторож Киша, он же управитель парком, — живой, шустрый старикан в галифе и баскетбольных кедах. С почтительностью глядя на этюдник, перепачканный красками, он говорил:

— Вот какая незадача. Нету, значит, нашего Лексея Максимыча. Как поехал с утра, так и не вертался. Да ведь ты сам рассуди. Пять деревень в колхозе. Восемьдесят верст, ежели кругом нашей земли объехать. Одних замков на амбарах, хранилищах, кладовых и прочих дверях четыреста штук. Это уж я тебе точно, как сторож, говорю. А прочей техники и вовсе счету нет. Тьма всего. Черт шего свернет в таком хозяйстве. Вот он, Максимыч, и вертится. Всему лад дать надобно.

Дед запустил под кепку пятерню, озабоченно поскреб косматый затылок.

— А ты, значит, с него портрет думаешь срисовать?

— Да вот собрался...

— От себя или указание дадено?

— Указание...



— Так, так, — одобрительно закивал Киша. — Давай срисовывай. У нас председатель красочный.

Часа через два, когда уже заметно повечерело и я подумывал уходить, дед пришел еще раз.

— Притомился небось, ожидаючи? — сказал он. — Видать, не будет нынче никаких делов. Приходи завтра пораньше. Глядишь, застанешь.

На другой день я пришел к правлению часов в семь. Утро было тихое, ясное, с прохладными, резкими тенями от домов и деревьев. Клумба, обрызганная росой, казалось, была покрыта хрустальным колпаком. Дед Киша уже прошелся метлой по дорожкам и успел посыпать чистым, чуть влажным речным песком. На свежем песке я увидел отпечатки следов председательского «москвича», обрадовался и поспешил в правление.

В кабинете Зотова шло какое-то совещание. Вдоль стены и на подоконниках сидели бригадиры, заведующие фермами, агроном, знакомый мне счетовод и еще кое-кто. На председательском столе лежала зотовская фуражка с пропотелым донышком, а сам Зотов, по своему обыкновению, прохаживался у стола.

Был он грузен, а с тех пор, как я его видел в последний раз, даже растолстел, особенно в поясе. Парусиновый китель, севший после стирки, выглядел на нем кургузо, из коротковатых рукавов торчали красные, налитые стариковской полнотой кисти рук, чем-то похожие на рацы клешни. Китель на груди, между медными пуговицами, собрался в гармошку, и, казалось, стоило Зотову неловко повернуться или повысить голос, как пуговицы не выдержат, осыплются и раскатятся по углам. Постарел Зотов! В широкой спине появилась сутулость, голова совсем стала свной, особенно на висках. Только ноги в легких хромовых сапожках, в синих армейских галифе, плотно обтягивавших икры, выглядели молодцевато. Зотов прохаживался вдоль стола, пружинисто и мягко ступая своими щегольскими сапожками по старенькому, вытертому коврику.

Совещание, видно, уже заканчивалось: бригадиры прятали в карманы записные книжки, заминали папироски, а сам Зотов уже несколько раз протягивал руку за фуражкой и нетерпеливо поглядывал в окно.

— Все, что ли?

— Алексей Максимыч...

Со стула поднялся рослый, плечистый парень в голубой трикотажной тенниске, со следами свежей стрижки на загорелой шее.

— Ну что там еще? Гляжу я, Степка, крутишь ты что-то... Не хочешь ехать — не надо. Другого пошлем.

— Да мы разве против...

— Так чего ж ты? Деньги на дорогу получил?

— Получил.

— Продукты выписал?

— Это все есть...

— Ну?

— Да вот дома как же?

— А что дома? Я сказал буху, чтобы центнера два хлеба в счет аванса выписал. Это матери. Если еще что надо будет, пусть приходит, поможем. А теперь ступай. Помни: лес нужен, постарайся там.

— Да уж за это, Алексей Максимыч, будьте спокойны...

— Ну, ну, ладно, «спокойны»! Пробудешь недельку да и дернешь. Смотри, голову оторву... Давай иди, иди!

Парень старательно приладил кепку на аккуратно зачесанные, крепко отдающие сиренью волосы и вышел. Вслед за ним стали расходиться и все остальные.

Я улучил момент и протиснулся в кабинет.

— А-а! — протянул Зотов. — Живописец! Здоров, здоров! Опять к нам?

— Не откажете?

— Себе — откажем, а уж служителю муз — всегда хлеб-соль. Когда приехал?

— Уже три дня в Отраде.

— Ну?! И не зашел!

— Как — не зашел! Весь день вчера за тобой охотился.

— Что такое?

Я рассказал.

— Ну, брат, в музей мне еще рановато, — рассмеялся Зотов. — Я еще тут, по земле, похожу. В музее только старые лапти да сарафаны вешают.

— Нет, в самом деле, Алексей Максимович. Надо. Не мне разъяснять.

— М-да...

Зотов поскреб небритый подбородок, жестко зашуршавший под его пальцами.

— Честное слово, много времени не отниму! — обрадовался я раздумью председателя. — Сегодня полчасика, завтра полчасика...

— Вот не выполняю хлебопоставок, — сказал он, хмуровато и снисходительно разглядывая меня, — тогда не только в музее, а и на телеграфном столбе мало повесить. Ты давай вот что... нарисуй-ка для нашего клуба картину. Веселую такую, яркую. Нашу, местную, а? Какие у нас места, я тебе скажу. Жигули!

— Опять за рыбу деньги!

На столе яростно задребезжал телефон. Председатель шагнул, широко облопав трубку.

— Слушаю я... Какой трактор, чей?.. Степанова? А бригадир где?.. Фу ты, черт! Ладно, сейчас приеду... Вот тебе и портрет... Трактор стал. За маслом не уследили. Ты уж меня извини, — сказал председатель, нахлобучивая фуражку с заляпанным мазутом козырьком. — Сам видишь, не вольный я казак. Если хочешь, поедем вместе. Вот только посмотрю бумажки. Откуда они набираются? Не успеешь рассовать, глядишь — опять кипа. Есть же любители марать бумагу!

Председатель сел за стол и, не снимая фуражки, стал просматривать папку. Я, ожидая, пока он освободится, остановился у раскрытого окна. На крыльце правления сидел разный люд. Зотов завел жесткий порядок: принимал в кабинете по личным делам только два раза в неделю. Сегодня день был неприемный, и председателя подкарауливали у выхода.

Откуда-то вывернулся дед Киша с метлой и, как взбешенный воробей, набросился на мужиков:

— Совести у вас нету! Ишь сколько окурков нашвыряли! Говорят вам, нечего расслаиваться, день неприемный. Марш, марш отседа, пока председатель не увидел!

Он бесцеремонно совал обтертой, колючей метлой под зад, и мужики, незлобно огрызаясь, по одному очищали порожки и нехотя расходились.

«Москвичок» захрустел всеми своими суставами, когда Зотов сажился за руль, накрепился на левый бок, да так и оставшись кособоким, покатился по прохладной тенистой дороге. Сразу за парком машина серой мышью юркнула в глубокий зеленый тоннель кукурузы. В ее густой, душной чащобе перепархивали по шуршащим на ветру листьям бесчисленные зайчики. Золотистые, нарядные султаны покачивались над глубокой траншеей полевой дороги.

Я глядел на всю эту буйную силищу, бьющую из земли почти трехметровыми фонтанами, и удивлялся неукротимой мощи чернозема.

Наконец стесненный кукурузой проселок выбежал на зальный солнцем простор и влился в широкую, накатанную дорогу. Глазам стало просторно. Зотов надал газку, «москвич» дернулся, как прищипленный конь, и бойко покати, убегая от ленивого, сонного облака пыли.

За лесистой балкой открылась черная полоса свежеспаханной зяби с неподвижным силуэтом трактора у самого края. Было видно, как над железной кабиной дрожал и струился горячий воздух.

Грачи, будто бригада ревизоров, деловито мерили пахоту неторопливыми шажками.

«Москвич» свернул на стерню, запылял по бороздам и остановился у кромки зяби, как раз против тракториста. На резкий стук дверцы из-под днища дизеля высунилось растерянное лицо тракториста-подростка.

— Подшипники целы? — еще издали крикнул Зотов, грузно поспешавший по вздыбленным комьям земли.

— Да, кажись, целы...

— «Кажись»! Две тысячи за машину отвалили, а ты — «кажись»... Где бригадир?

— Возле комбайнов.

— Пошли за ним?

— Прицепщик побегал.

— Ну-ка, дай гляну.

— Пойдите, я фуфайку постелю, — обрадовался тракторист.

Зотов, кряхтя, полез под вскрытое, дышащее горячим маслом брюхо трактора. Парень, присев на корточки, участливо заглядывал под гусеницы.

— Подой-ка тряпку. И отвертку. Шатуны стучали, что ли? — послышалось из-под машины. — Придет бригадир — сделайте перетяжку. И масляный насос проверьте. Только чтобы завтра — пахать. Понял?

— Сделаем, Алексей Максимыч.

— «Сделаем»! Вот допашешь клин — сниму с трактора ч чертовой бабушке.

— Я разве виноват? — У парня побелело лицо, и сразу проступили все веснушки, будто набрызганные пульверизатором. — Трактор старый, на нем хоть что не сработает.

— Мне твое «кажись» не нужно, — не слушая, ворчал Зотов. — Это тебе не телега. Брат когда демобилизуется?

— К Ноябрьским обещал...

— Ну вот, трактор отдадим ему, а ты... На курсы поедешь?

Лицо паренька медленно налилось краской, и все его крупные просяные веснушки снова утонули и померкли.

Уже далеко отъехав от трактора, Зотов, все время молчавший, проронил:

— С одной стороны, вроде бы все хорошо: своя теперь техника, от МТС не зависим. Широкая оперативность. А машины все равно простаивают. Еще больше, чем раньше.

— Почему?

— Нет хороших механизаторов. Мне еще трактора три надо бы подкупить. Не могу. Никого на них сажать. Все опытные трактористы после ликвидации МТС в соседние колхозы ушли, по месту жительства. У них там хаты, коровы, деды-бабки. Двух переманил, срубил даже перевез. Да что это — капля в море.

Приходится на дизеля прицепщиков сажать. Вот и лезешь чуть ли не под каждый трактор.

— А механики на что?

Зотов досадливо передернул плечами:

— Сколько этих механиков? А моторов в колхозе более ста штук. Считаю, тридцать тракторов, двенадцать комбайнов, тридцать две автомашины да еще всякие стационары. И все это разбросано на пяти тысячах гектаров, работает в напряженных условиях — пыль, грязь, тяжелый грунт, бездорожье, техническое бескультурье... Работы все срочные, календарные. Подошла жатва — разбейся, а в две недели свали хлеба. Иначе зерно в землю утечет. В этих условиях не механики решают, а рядовые. Нам нужно до предела загруженное машинное время. Вот на зиму человек пятнадцать по школам рассую.

И еще через некоторое время, как бы продолжая перебирать какие-то свои думы, сказал:

— А много ли толку? Выучишь — в армию заберут. Да-а! Хорошие кадры собрать — лет пять надо. А они мне сегодня, вот сейчас нужны. И так во всем... Хвост вытащишь — нос вязнет. Диалектика!

Среди поля показалось длинное строение с низкой шиферной крышей, донесся гул работающих машин. Мы въехали на ток. Над цементированной площадкой висела упругая пульсирующая дуга. Выметываясь из зернопульта, она пронеслась в знойном неподвижном воздухе с легким ушуршанием. На другом конце струя тяжело ударялась о ворох, который сразу начинал расти, как только женщины, орудовавшие совками и деревянными лопатами, на минуту переставали отгребать. Пахло полем и сытым, горячим ароматом свежего зерна. Неподалеку, дробно стукотая, работали от тракторного привода три сортировки. Просушенное зерно насыпали в мешки, вешали и грузили в автомашины.

Зотов прошел к весам, развернул тетрадку, привязанную шнурком вместе с кургузым карандашиком к коромыслу весов.

— Сколько машин ходит? — вскинул он глаза на заведующего током, бритоголового, в красной майке, запорошенной мякиной.

— Машины, Алексей Максимыч, все. Вот зерно не успеваем подсушивать. Мала бетонная площадка. Утром одну машину на элеваторе не приняли. Не прошла по кондиции. Пришлось там во дворе высыпать, досушивать.

— Брезенты есть? Расстелите брезенты.

— Да уж разостлали.

— Расчистьте рядом стерню, утрамбуйте.

— Да кто будет расчищать?

— А ты что, инвалид?

— Ну, я — ладно. А еще кто? Бабы и так вон без разгиба зерно лопатят.

— Значит, ничего нельзя сделать? Будем срывать график? — Зотов отбросил тетрадку, и та закачалась на бечевке.

— Почему — нельзя? Дайте бульдозер — полчаса делу.

— Привыкли: чуть что — бульдозер, трактор! Вон Магнитку без бульдозеров строили. Лопатами да тачками, — ворчал Зотов, доставая из кармана блокнот. — Трактористов у меня нет. Все заняты. — Написав что-то в блокноте, Зотов вырвал листок. — На, съездишь к загвару — пусть сам пригонит бульдозер. Скажи, что на часок, не больше.

Щупая на ходу зерно, Зотов подошел к сортировкам. Постоял, поглядел, подозвал к себе молодую женщину со вздернутым животом, железной мерой насыпавшую зерно в бункер сортировки:

— Ну-ка, поди-ка сюда, Настя.

Женщина отставила меру, подошла, охорашивая передник.

— Гляжу — тяжелая, что ли?

Настя засмушалась, начала подсовывать волосы под платок.

— Ну и... и как же ты?.. Может, тебя на птичник отправить? Пока суд да дело...

— Да нет, Алексей Максимыч, я уж тут...

— Ну, смотри, девка! А то принесешь семимесячного... Мне такие в колхозе не нужны.

— Не принесу! — блеснула глазами Настя. — Крепче будет!

Сев в «москвич», Зотов надавил стартер, но, что-то вспомнив, открыл дверцу и, выставив одну ногу на землю, крикнул:

— Как, обед возят?

— Вчера привозили! — откликнулись бабы. — Оставайтесь с нами обедать.

Зотов не ответил, но, повернувшись ко мне, сказал:

— Побудь-ка здесь. А я, не бойся, не сбегу. Съезжу в одно место и заверну за тобой. Край надо съездить.

Я стал отговариваться.

— Нет, нет... Вылезай, вылезай! Ну чего без толку мотаться? Порисуй, с людьми побалакай. Говорю — заеду.

Не зная Зотова, я бы, конечно, обиделся: говорил он со мной снисходительно, как с малым ребенком. А в этом «порисуй» проглядывало снисхождение уже не к моей персоне, а ко всему моему занятию. Но я понимал: хитрил Зотов! Он хотел, чтобы я остался и пообедал на току.

Пришлось уступить. Хлопнула дверца, «москвичок» сердито вычихнул синий клуб дыма,

запрыгал, заскрипел рессорами на примятой стерне. Где еще мотался он — не знаю. Я уже зарисовал несколько листов альбома и успел до костей прожариться в печной духоте августовского уборочного дня, а его все не было. Наконец он подъехал, я влез на заднее сиденье, и мы покатили.

— Поедем, покажу тебе лагерь.

Показывать мне скотный лагерь Зотову не было никакой необходимости, просто ему нужно было туда зачем-то, и вез он меня потому, что деть меня некуда. Но мне и самому, честно говоря, никуда ехать больше не хотелось. Сморенный жарой, я безучастно смотрел на знойно желтевшую стерню вдоль дороги, на далекие комбайны, тут и там выплывавшие на взгорки.

Машина шла быстро. Зотов сердито и размахисто вертел баранку, объезжая ухабы и колдобины. Меня бросало из стороны в сторону, «москвич» гукал задним мостом, как загнанный жеребец ёкает селезенкой.

Одной рукой Зотов полез в карман кителя, очевидно, за носовым платком, чтобы вытереть взмокшую, багровую шею, испещренную сеткой морщин, и неожиданно для самого себя достал кусок давно засохшего хлеба. Поглядев на сухарь с недоумением, он сунул его в рот и спросил:

— Покормили тебя?

— Да нет...

— Что, не привезли разве? Ах, черти! Специально выбраковали два десятка петухов. Варить лапшу для токов и комбайнеров. И сами себе угодить не могут. Чистые дети! Поедем ко мне, чем-нибудь накормлю.

— Еще терпеть можно.

— Поехали, поехали! Нечего дурочку ломать!

Зотов решительно затормозил машину, дал задний ход и, вернувшись на перекресток, который только что минули, поехал по другой дороге.

На въезде в село, возле угрюмоватого дома на высоком фундаменте, машина остановилась. Из-под куста бузины вылез большеголовый пес, оставшийся при доме еще от прежнего председателя. Жена Зотова прозвала его Фирсом — по имени старого чеховского лакея из «Вишневого сада». Фирс подбежал к Зотову, застучал по сапогам хвостом, обметая пыльные голенища.

Мы вошли в прохладную горницу. Я и раньше бывал у Зотова, и с тех пор ничего в доме не изменилось. Все так же среди простенькой, наспех купленной обстановки надменно возвышался, холодно поблескивая хрусталем посуды, полированный сервант — единст-

венная вещь, которую привезла с собой из города жена Зотова.

— Я уже три дня холостякую, — сказал Зотов. — Моя старуха уехала к дочери, так что, извини, борщей не будет.

Он принес кусок холодного мяса, с десятком яиц, тарелку помидоров, достал из серванта стопки.

— Яйца сырые пьешь? Или яичницу?

— Сырые так сырые... Только вот что, Алексей Максимович... Давай сначала попозируй. А?

— Гляди, не забыл!

— Хотя бы простой набросок. А то кто-нибудь явится — и опять улетит.

Зотов крупно, крест-накрест нарезал помидоры, посыпал их кольчатым луком и солью.

— Что с тобой поделаешь? Давай, валий...

Я помчался к машине, вытащил из багажника этюдник, начал готовиться к сеансу.

— Может, побриться? — спросил Зотов.

— Не надо, ничего не надо.

— Что прикажешь делать?

— Садись, голубчик... Больше ничего.

Зотов, пряча смущение, неловко и грузно опустился на стул, не зная, куда деть руки. Наконец он пристроил их на растопыренных коленях и успокоился.

— Сиди так... Свободненько...

Некоторое время я приглядывался, потом, нащупывая, стал класть первые штрихи.

— Так... Секундочку... Что, супруга привыкла к деревне?

— Скучает... Я-то сам из лапотников. Это уж потом рабфак, коммунистическая школа и все прочее. А она всю жизнь в городе.

— Да... трудненько привыкать...

Писать Зотова вроде бы просто. Лицо резкое, суровое, черты проступают отчетливо. Лепи крупный нос, этакой мичуринской грушей; по лбу твердым нажимом проводи борозды; маленькие жидко-зеленоватые глаза утопи в складках век под тяжелым надбровьем...

— Значит, скучает, говоришь?..

— Теперь, правда, не так... Я ей здесь дело нашел... Был у нас рояль. Когда ехали сюда, думали: куда его деть? Дочь училась в Харькове. Сын в армии. Я ей говорю: давай продадим. Куда, к лешему, везти его с собой... Неудобно, говорю, выбрали председателем, а я прикачу с роялем. Нет, уперлась: «Заберем да заберем»...

Зотов говорил одними губами, не шевелясь, будто сидел в парикмахерском кресле.

— Так...

Линию рта намечай чуть искривленной: рот у Зотова косоватый, с какой-то насмешливой в левом углу. Ну, а дальше массивный подбо-

родок, а вокруг него толстая жировая складка, набегающая на воротник.

— Ну, и что с роялем?

— Привезли, понимаешь, сюда... Стали за-таскивать, а он в двери не лезет... Вообще-то втащить можно было... Да я тут словчил малость. Давай, говорю, отвезем пока в клуб. Старуха было надулась. Ни в какую. Два дня ночевал рояль на дворе. А потом жалко стало, согласилась... Под Новый год сидели мы с ней на концерте самодеятельности. Попросила ее сыграть. С тех пор и пошло. Сама бе-гает, дрынчит, и молодежь около нее учится. У них там теперь что-то вроде музыкальной школы.

— Обхитрил, выходит...

— Нет худо без добра!

— Это верно...

Я отступил от холста, поглядел. Вроде бы все точно схватил. А Зотова нет. Вместо него какой-то сердитый, некрасивый человек непонятных занятий. То ли надменный чиновник, то ли отставной генерал-служака. Придет-ся повозиться. Портрет — дело такое... к нему не приложишь анкету. Оставил лицо пока так и начал писать руки.

— Это ты ее ловко обвел...

Коротковатые рукава кителя беспорядочной смятой гармошкой задрались почти до локтя. Большие, неловкие в своей вынужденной неподвижности руки с какой-то подростковой застенчивостью лежали на коленях. Они чуть отекли и заломились глубокими складками в запястьях, а там, где начинались пальцы, в этой багровой, заветренной припухлости, над каждым пальцем залегли стариковские ямочки. Сами же пальцы, сдавленные с боков оттого, что всю жизнь теснили друг друга в работе, с натруженными, узловатыми суставами и кургузыми, горбатыми ногтями, были сильны да-же в своем неподвижном лежании.

Я увлекся, списывая эти терпеливые и доб-рые руки, и видел, как от их появления на холсте постепенно оживало и как-то добрело суровое зотовское лицо, как эти руки делали Зотова — Зотовым.

— Так, так... — машинально твердил я.

Мой карандаш торопливо шуршал и чиркал в тишине горняцки, а Зотов, перенося томитель-ную неволю, послушно глядел в окно, загоро-женное пыльным кустом бузины.

Вдруг голова его как-то странно качнулась. Я вскинул глаза. Поддерживая грузное тело, зотовские руки по-прежнему твердо и терпели-во упирались в колени. Но седая голова без-вольно поникла. Серая парусиновая куртка мерно вздымалась на груди. Верхняя пуговица при каждом вздохе покачивалась, словно на

волнах, то опускаясь, то касаясь небритого под-бородка... Двадцать минут безделья сломили старика. Я дорисовал руки, осторожно сложил этюдник и на носках вышел из комнаты.

Серый, запыленный «москвич» тоже дремал у обочины, дожидаясь своего хозяина.

## ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ?

Низкобрюхий паровозик натужным рывком сдвинул состав и, тяжело и черно дымя в при-станционные вязы, потащил за выходную стрелку. Станция сиротливо опустела и попрот-орнела. Стало слышно, как верещали воро-бы, облепившие приземистую крышу какого-то склада.

Сошедшие с поезда немногие пассажиры быстро разошлись, и Стремухов остался один возле своего чемоданчика. В здешних местах он оказался впервые, но вообще-то его знали во многих районах: он разъезжал с лекциями на планетно-космическую тематику. Синие афи-шки, усыпанные звездами, еще долго после его наездов висели на клубных дверях, сельмагах или амбарах.

Был он трудолюбивым и добросовестным лектором, следил за печатью, аккуратно выре-зал бритвочной заметки или отдельные кусоч-ки из них, вырезки наклеивал на плотный ли-сток цветной бумаги и складывал в специаль-ные папки: отдельно по Марсу, отдельно по Венере, по звездам и галактикам. Это коллек-ционирование, особенно после того, как от него неизвестно почему ушла жена Катя, перешло границы утилитарного лекторского интереса и превратилось в тихую безмолвную страсть.

Командировка была последней перед отпу-ском, и Стремухов ехал сюда не особенно охот-но. И вообще он недолюбливал те места, где нет чайных и заезжих домов. Дело тут вовсе не в том, что он был человеком изнеженным и не терпел неудобств. Напротив. Прочитав лекцию, он старался уединиться и переночевать где-нибудь на диванчике в сельсовете или в учительской. Но местные власти и слушать не хотели: «Какой может быть разговор! Будет еще где-то там валяться... Пошли, пошли!» И Стремухова вели к кому-нибудь в хату. Тут-то все и начиналось. Его сажали в красный угол, застилали белым хрустящим рушником ко-лени, и, пока он сидел этаким Иисусом Христом, все живое в доме, начиная от старухи хозяйки и кончая взоруженными внучатами и кошкой, разглядывало его всяк на свой манер, ловило каждое его движение. Он же совершенно не

умел есть на людях, рассеянно жевал одни только соленые огурцы, хотя стол обычно был обильно уставлен всякой всячиной. Молодая хозяйка пугалась, начинала за что-то извиняться и, отозвав на кухню мужа, срочно усылала его из дому. Муж через некоторое время прибегал, и по его счастливым глазам было видно, что достал-таки... Он с кхеком, будто припечатывал штемпель, ставил поллитровку на стол.

Бутылка мерцала холодной, самоуверенной прозрачностью своего содержимого, при одном виде которого у Стремухова запотевали очки. Он испуганно благодарил и показывал на сердце.

После ужина хозяйка начинала стелить свою двухспальную кровать, взбивать кулаками перину и вытаскивать из сундука чистые наволочки и простыни, и Стремухов, мучимый неловкостью, бормотал, прося постелить где-нибудь на полу.

Но хуже всего было ночью, если приходила надобность выйти во двор. Он не забывал дверей и особенно всяких задвижек и терпеливо дожиджал до утра.

Все это ему еще только предстояло, когда он сошел на перрон в Сенцовых Будах.

Проводив глазами поезд, Стремухов без всякого интереса оглядел станцию. Неподалеку косолапо переваливался брюхатый гусак с вывернутым крылом. Крыло торчало из правого бока наподобие обнаженной сабли. Гусак разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал просыпанные семечки. Подойдя ближе, гусь замолчал, строго то одним, то другим глазом посмотрел на Стремухова, будто перронный милиционер, и к Стремухову подступило беспокойное чувство бездомности.

— Сейчас пойду, — сказал он не то гусуку, не то самому себе, поправил очки и взялся за чемоданчик.

От Сенцовых Буд Стремухову надо было ехать еще километров тридцать, в сухомлиновскую группу колхозов. Расспросив дорогу, он вышел за станцию.

Возле дорожного указателя на большом перевязанном чемодане сидела девушка в голубой вязаной кофточке. Желто-пестрая косынка шалашиком укрывала ее лицо от солнца. Стремухов поздоровался, приподняв шляпу, и осведомился, как добираются до Сухомлинова. Девушка ответила, что к поезду приходила почтовая машина, что она уже ушла и теперь придется караулить попутную.

Стремухов тоже присел. Солнце сквозь плащ припекало его спину, галоши сделались горячими. За дорогой, уже сухой, посветлевшей, нежилась под солнцем яркая, ровная зе-

лень озимых. Оттуда тянуло теплой, разомлевшей пашней и травянистыми хлебами. Над головой счастливо звенели жаворонки, в поселке горланили петухи, и все вокруг было по-майски радостно и празднично — и земля, и небо, и все, что росло на земле и парило в воздухе, а где-то по другую сторону Сенцовых Буд глухо и благодушно, как добрый старик, ворчал и погромыхивал гром.

Стремухов снял шляпу, надел ее на острое колено. Ветерок прохладно погладил его по влажным волосам. Он облегченно вздохнул.

Добирался он сюда на двух поездах, и оба были неудобны по времени. На скорый попал поздним вечером, ехать было какой-то пустяк, и он не брал постели. Ночью пересел вот на этот «дачник», проторчав перед тем часа полтора в ожидании посадки в переполненном вокзальчике. «Дачник» едва тащился, то и дело скрежетал тормозными колодками и надолго замирал почти возле каждой будки. В вагоне стоял повалыйный и беспечный храп. Стремухов и сам было прикорнул на лавке, но к нему, как к единственному бодрствующему пассажиру, привязался какой-то заросший босой старик, а может быть, и не старик, в офицерской шинели. Старик дергал Стремухова за рукав и, блудливо озираясь, упрямился сойти с ним на каком-то разъезде. По его словам, он там раскрыл разговор и заговорщиков-де надобно похватать, пока еще не рассвело. Стремухов безропотно слушал, потом, окончательно умаявшись, не выдержав, извинился, сказал, что ему пора выходить, и пересел в другой вагон.

— А вам до самого Сухомлинова? — спросила девушка.

— Да...

— Наверно, в командировку?

— Да, знаете...

Девушка посмотрела из-под своего шалашика на галоши Стремухова и замолчала.

Молчал и Стремухов.

Тем временем показалась машина. Девушка вышла на дорогу, подняла руку. ЗИЛ прошел было мимо, но потом прижался к обочине и остановился. Девушка переговорила с шофером и замахала Стремухову:

— Идите! Ну, идите же!

Кузов огненно пламенел новыми кирпичами. Кирпичи были сложены аккуратно, ряд к ряду, вровень с бортами. Стремухов, успевший, пока влезал, выпачкаться в кирпичной, еще не обдутой заводской пылице, присел сверху штабеля на короточки, собираясь ехать так до конца.

— Вывалитесь, — усмехнулась попутчица. — Идите сюда.

Стремухов послушно перебрался назад. Там было свободное место и кусок брезента.

— Только, знаете, машина не до самого Сухомлинова, — сказала девушка. — Она свернет на маслозавод. Я вас не предупредила... Но там недалеко.

— Ничего, — кивнул Стремухов. — А вы здешняя?

— Сухомлиновская.

— На каникулы?

— Ездил в область на семинар. — Девушка поглядывала на бегущие по сторонам поля, и ее косынка, завязанная под подбородком, то парусила, то щелкала за спиной острым уголком. Видно, ей было приятно узнавание дороги в преддверии дома. — Я библиотekarь. — И, как бы желая убедить, что дело ее не шуточное, добавила: — У нас библиотека — двенадцать тысяч томов. В районе такой нету... Смотрите, какая туча!

Позади грузовика, над Сенцовыми Бдами, стояла туча. На ее глухой синеве нежно вырисовывались молодая, светлая зелень придорожной посадки и белый дымок товарняка. Туча казалась неподвижной, хотя полчаса назад ее вовсе не было. Она торжественно-величаво разворачивала свои многоярусные, сине-пепельные полотно, отороченные белым барашком. В ее темных разломах все так же неспешно и добродушно рокотал гром.

— А мне нравится! — воскликнула девушка, хотя Стремухов ничего не сказал. — Как в театре. Так бывает перед спектаклем. Смотрите — опущен занавес, а за ним что-то передвигают.

— Мы успеем? — тревожно спросил Стремухов.

Через полчаса ЗИЛ остановился перед спуском в широкую низину. Открылась речушка в молодых осяках. Луг пестрел гусиными выводками. Не проезжая мост, машина остановилась. Вышел шофер, помог выгрузиться, спросил у Стремухова закурить. Стремухов развел руками, и шофер, хлопнув дверцей, покатил вправо, верхней дорогой.

— Теперь мы дома! — сказала девушка. — Вот только пробежать луг и взойти на гору.

Тем временем туча все так же не спеша коснулась солнца, подержала на кончике вытянутого языка добела раскаленный шар, будто остужая его своим дыханием, и медленно проглотила, засветившись изнутри. Солнце в какие-то прорехи выпустило широкий сноп лучей, сверху донизу косо перечеркнувший тучу, но в этот миг весело и властно чертыхнулся гром, и лучи убралась.

— Ой, что будет! — крикнула девушка, перевязывая потуже косынку. — Побежали!

Подхватив свой чемодан, девушка первой стала спускаться вниз. За ней трусил Стремухов,

подшаркивая галошами по сухой, убитой дороге. Скат полого и длинно уходил к мосту.

Налетел и упруго толкнул в спину ветер — теплый и влажный, сытый травами, как дыхание стада. По косогору пробежала белесая полоса прижатой озими, ветер заплесал крученым столбом пыли и начисто вымел деревянный настил. Девушка поймала взметнувшийся подол платья, нагнулась, зажала его в коленях. И тотчас ветер набросился на Стремухова, безо всякого почтения, дерзко и хулиганисто, заламывая поля его шляпы то кверху, то книзу. Стремухов всплеснул руками, но не успел — шляпа взлетела в воздух. Стремухов бросил свой чемоданчик, побежал догонять. Он неловко подпрыгивал, взмахивал руками. Но шляпа не давалась и, вращаясь вокруг своей оси, синим велюровым Сатурном перелетела через кювет, упала в траву, покатила.

Стремухов, тонконогий, в обдутых, пусто трепыхавшихся брюках, бежал следом, норовя наступить на шляпу галошей. Но его обогнала девушка и, смеясь и мелькая белыми топчакми, поймала шляпу почти у самой воды.

— Какой... вет... ветер, однако! — задыхаясь прокричал Стремухов. Его хохолок свалился на лоб и запутался в очках. Тугой ветер не давал ему сказать еще какие-то слова, и он, простоволосый и растрепанный, смотрел, как вихри заламывали и клали на воду зеленые мечи аира.

Дождь догнал их на мосту. Он спустился с пригорка, шелестя, будто тысячекрылая стая скворцов. Быстро темнела чуть пылившая дорога.

Первые капли редко и гулко зашлепали по теплему настилу. Будто кто-то наискосок втопнул новенькие, блестящие гвозди, от которых оставались видны одни только темные круговины шляпок. И вдруг зашумело...

— Ага-га-га-а! — торжествующе загрохотал гром.

Пока девушка, присев на чемодан, разувалась, Стремухов, чуть поколебавшись, осторожно накинул на нее плащ.

— Дождь, знаете...

— А вы?

— Ничего! — бодро отозвался Стремухов и приподнял воротник пиджака.

— Идите сюда! — рассердилась девушка. Она схватила его за рукав и втащила под плащ.

Серый, мгlistый свет то и дело вспыхивал ослепительным голубым мерцанием, и следом через все небо прокатывался крученный, узловатый гром, то затухая до глухого ворчания, то вдруг снова обрушиваясь ступенчато грохочущим обвалом.

Стремухов сидел, радостно оцепенев.

Ночная бессонная езда, попутная машина с кирпичами и эта гроза до сих пор были для него лишь неизбежными препятствиями на пути к лекторской трибуне. Отправляясь в дорогу, он обычно впадал в состояние безропотной отрешенности, будто напяливал на себя непроницаемое облачение. Но внезапный вихрь, сорвавший с него шляпу и заставивший неловко скакать на виду у этой девчонки, заодно сдул с него состояние отрешенности.

От недавней погони за шляпой, после чего все еще гулко колотилось сердце, и от хлынувшего ливня, и еще оттого, что он пожертвовал своим плащом и был готов промокнуть до нитки, к нему пришло радостно-счастливое возбуждение. Может быть, оно скоро и прошло бы, но как раз в эту минуту девушка бесцеремонно потащила его под навес плаща и усадила его рядом с собой на чемодане. Стремухов стыдливо оцепенел, как если бы его раздели донага.

Он не мог бы сказать, сколько просидел вот так, в немом оцепенении, но когда наконец очнулся, то тихо и где-то глубоко внутри себя изумился, будто проснулся и протер глаза.

Он увидел, вернее, почувствовал, что сидит на самом краешке чемодана и придерживает полу плаща за спиной девушки. Рука устала, а он боится пошевелиться, чтобы как-нибудь нечаянно не задеть свою спутницу. И это «не задеть» было не просто обычной предупредительностью, а непонятым, волнующим сопротивлением чему-то.

— Извините... — сказал он, заранее боясь того, что хотел сказать, хотя полчас назад не испытывал никакого страха перед своей попутницей. — Мы вот так сидим... А я не знаю, как вас зовут.

— Меня зовут Леной.

— А по отчеству?

— Зачем вам по отчеству? — усмехнулась девушка. — Спрячьте ноги.

— Ничего...

— Как — ничего? Садитесь поудобнее. Смотрите, у вас совсем промокли колени.

— А мы не раздавим чемодан? — спросил Стремухов и, немного придвинувшись, почувствовал прикосновение Ленинского плеча.

— Ничего не случится. Там у меня репродукция.

— Интересуетесь живописью?

— Буду устраивать выставку.

— Даже вот как!

— Книг теперь в деревне много, — сказала Лена. — А картин хороших нет. Вешают в домах плакаты. Про сберкасса. Просто обидно. Везу хоть это. Пусть смотрят, учатся понимать хорошее.

Не поворачивая головы, а лишь незаметно скосив глаза, Стремухов уважительно посмотрел на свою соседку. Но ничего не увидел, кроме откинутой на спину косынки и копны волос. Но все это было в такой волнующей и неправдоподобной близости — эти мокрые и спутанные волосы, пахнувшие дождем и ветром, что у него начало застилать уши, и он, словно сквозь вату, едва слышал громохание грома.

— А вы, часом, не уполномоченный? — неожиданно спросила Лена и критически посмотрела на Стремухова.

— Нет, а что?

— Терпеть не могу уполномоченных... Назежают, как татарские баскаки.

— Нет, знаете... Я лектор. Буду читать у вас лекции.

— На какую тему? Есть ли жизнь на других планетах?

— Да... А как вы угадали?

— Что ж тут угадывать? — усмехнулась Лена. — По вас видно. Какой-то вы... потусторонний.

Стремухов смутился, поправил очки.

Дождь, было утихший, пустился в новую, веселую скоморошью пляску на чисто вымытом мосту.

— Теперь огурцы полезут! — сказала Лена. — А что, есть еще где-нибудь жизнь, как у нас?

— Очень возможно... Я, знаете, даже убежден.

Стремухов мечтательно посмотрел на серую стену дождя.

— Совершенно ошибочно считать, что во всей беспредельно великой вселенной жизнь существует только на Земле. Если так, то, стало быть, она возникла и развивается случайно. Но как раз законы развития материального мира исключают такую случайность. Напротив, в не ограниченном ни временем, ни пространством космическом мире возможны бесчисленные повторения. — Стремухова подхватило и понесло, будто к нему придвинули трибуну. — А тем более всякие варианты и стадии существования живой мате...

Над ним оглушительно и сухо треснуло. Мост ходуном заходил под ногами. Стремухов вздрогнул и замолчал, но тут же спохватился и продолжал:

— Так вот... тем более всякие стадии и варианты, в том числе и мыслящей материи.

— А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь, — перебила Лена.

— Позвольте... Отчего же? — удивился Стремухов.

— Не знаю...



— Но это антинаучно!

— Ну и пусть!

Стремухов даже обиделся.

— Вот вы говорите, что на Марсе нашли какие-то там лишайники, — сказала Лена. — А я радуюсь, что одни только лишайники.

— Странная вы девушка, — пробормотал Стремухов. — Первый раз встречаю такое любопытное игнорирование... За исключением, разумеется, церковников.

— Ну что ж, записывайте и меня в мракобесы, — весело и вызывающе сказала Лена. — А вы и сам как поп., Все неземную жизнь проповедуете...

— Значит, вы совсем отрицаете? — ужасаясь и почти шепотом спросил Стремухов.

— Я не отрицаю. Пусть даже и будет. Но чтобы не лучше, чем у нас. Пусть там ходят по своим лишайникам.

Она выставила босые ноги из-под плаща.

— Не могу даже представить, что такой вот наш, такой вот теплый дождик есть еще где-то... И такой гром... И вообще... Все равно у нас лучше всех! Ничего вы не понимаете!

Стремухов, сбитый с толку, смущенно смотрел, как дождь смывал с Лениных ног набрызганную грязь. Лена шевелила порозовевшими пальцами, и Стремухов даже разглядел на ее мизинце маленькую белую мозолину.

Дождь прекратился так же внезапно, как и нагрнулся. Шум его затихал, удалялся. Стало слышно, как внизу, между сваями, плескалась речка. Мокрый луг наполнился радостным гогом гусей. Откуда-то пробилось солнце и затеплило доски моста.

Но Стремухову было жаль, что дождь перестал.

Они сошли на раскисшую, в мутных лужах дорогу.

— Позвольте ваш чемодан... — спохватился Стремухов.

— Что вы! Я сама...

— Нет, позвольте. — Он решительно взял ее за ручку чемодана.

— Имейте в виду — он тяжелый.

— Тем более!

Чемодан оказался действительно тяжелым. Но это лишь обрадовало Стремухова.

Он пошел, осторожно прощупывая галошей уцелевшие бровки и островки. Лена шла сзади, с удовольствием забредая в теплые молочные лужи.

— Да разуйтесь вы! — смеясь, она поглядывала на Стремухова. — Все равно весь мокрый.

На вершине горы они остановились. Над ними простиралось небо, беспредельно огромное, вымытое и ясное, раздвинутое вибрирующей и в глу-

бину предвечерней прозрачностью воздуха. Где-то впереди туча все еще волочила свои косящие рушники дождя. Но ее уже заслонили ярусы недвижно замерших облаков, встававших белыми величавыми городами.

И все это от края и до края перепоясал пестрый кушак радуги.

— Вот здесь я и живу, — сказала Лена, сама удивляясь открывшейся шире. — Во-он оно, наше Сухомлиново.

Как ни упирался Стремухов, Лена все-таки уговорила пойти к ним ночевать.

— Зачем же в сельсовет? Будете там где-то валяться...

— Нет, знаете... Я все-таки пойду, — просяще сказал Стремухов и с тоской посмотрел мимо Лены.

— Куда же вы такой? Какой вы космонавт... в мокрых брюках! — Лена сердито подтолкнула его под локоть. — Ну, идите же!

Ленина мать, невысокая, полная и подвижная женщина, заговорила со Стремуховым так, будто давно ждала его и только удивлялась, что его до сих пор не было.

— А я гляжу — прошла почтовая, а никого нет. Ах ты господи! Надо же, в самый проливень... Вот и за калоши начерпали. Да ведь у нас чуть брызнуло — уж и ног не вытащить.

Лена провела Стремухова в горницу, вынула из сундука брюки, повесила на спинку стула.

— Переодевайтесь. Они совсем новые. Брат кунил перед армией.

— Право же... — мученически зашептал Стремухов.

— Перестаньте! Если будут велики — вот вам булавка. И давайте ваш пиджак. Удивляюсь — сидел человек под плащом, а спина мокрая.

Ужинали уже при свете лампы, за тесовым столиком под отцветавшими вишнями. Вечер был с молодым месяцем, чуткий и синий, какие случаются только в начале лета, после первых гроз. Лена в легком безрукавном сарафане бегала в погреб, носила из кухни посуду, раздувала во дворе самовар, смешно плача от дыма.

— А это настоячка. На смородинных почках. — Ленина мать обтерла передником черную бутылку и пристроила ее между тарелок. — Может, попробуете с дороги. Сами делали... Ух и дождь, скажите на милость!

Стремухов, облаченный в чужие брюки и благодаря этому оканчательно примирившийся со всем, послушно ел все, что ему подсовывала Лена. Он даже, ободренный ее вниманием, выпил стопки три настойки. Настойка как-то

вкрадчиво и ласково обволокла его теплом, и в нем тихо и радостно что-то посмеивалось.

Ему нравились этот серый дощатый столик, и керосиновая лампа, и путаница вишневых веток над головой. От всего этого ему захотелось говорить о чем-нибудь простым и веселом. И он почему-то вспомнил о старике в офицерской шинели, который подбивал его схватить заговорщиков. Но рассказ получился несмешным, и Стремухов как-то сразу отрезвел, виновато посмотрел на Лену и замолчал.

— Расскажите еще о чем-нибудь, — попросила она ободравшие.

— О чем же?

— О чем хотите.

Лена, подперев голову кулаками, разглядывала Стремухова с открытым, безбоязненным и задумчивым вниманием.

— Вы ведь много знаете. Я по вашим глазам вижу...

— Гм... что ж... однако... — пробормотал Стремухов.

— Ну хотя бы про звезды. Это интересно. Я ведь тогда нарочно наговорила.

— Про звезды? — Стремухов усмехнулся. Не поднимая головы, он помешивал ложечкой в стакане. Потом отодвинул стакан и попросил: — Налейте еще рюмочку.

Он выпил, снял очки и, близоруко сощурился, грустно взглянул на Лену.

Они еще посидели за остывшим чаем, Стремухов молчал.

Наконец Лена, вздохнув, сказала:

— Эх вы!.. Идите лучше спать.

Стремухову уходить не хотелось, но он послушно встал.

В хате он спать отказался. Ему постелили в сарайчике, в закроме, набитом сеном.

— Только здесь корова, — предупредила Лена, с лампой провожая Стремухова под навес. — Не бойтесь, она привязанная. Тут спал дедушка, когда был жив. А теперь я... Спокойной ночи.

Стремухов разделся и лег, забыв снять очки. Он лежал навзничь, вслушиваясь, как под ним шуршали, уминаясь, сухие травинки сена.

В дверной проем он видел, как засветилось окно в хате: в горнице вошла Лена и поставила лампу на стол. Лена опять куда-то ушла, потом вернулась, стала перебирать свои репродукции. На некоторые она смотрела подолгу, и лицо ее то хмурилось, то нежно и радостно расцветало.

Потом Лена унесла лампу, и окно погасло.

По улице шумно прошла ватага сухомлиновских девчат. Они прошли совсем близко и, обходя и перепрыгивая через налитые лужи, хва-

тались даже за збор, изловчаясь уберечь от грязи туфли и босоножки. «Ой, мамоньки родные! Всю красу свою заляпала!» — взвизгивал кто-то.

Дальше по улице их встретила гармошка, и высокий, радостно-бунтарский девичий голос подхватил:

Не прячь, мама, сарафан  
В белую горошку.  
Все равно я убегу  
Плясать под гармошку!

Девчата засмеялись, песня рассыпалась, и гармошка смолкла. Потом уже далеко, так что нельзя было разобрать слов, частушка еще раз два всплеснулась, сладко тревожа Стремухова живым девичьим голосом.

Село затихало.

Стремухов долго лежал в черной пустоте сарая, взбудораженный и настороженный, в ожидании чего-то... В широком проеме неясно голубела стена беленой хаты с темным окном. Он тайно еще надеялся, что, может быть, в окне снова засветится огонек или скрипнет сенная дверь...

Но ничего не случилось. Ночь шла своим чередом. Сухомлиново спало, и молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал в вишняках.

## НА РАССВЕТЕ

Всю неделю низко висело отяжелевшее небо. Ветер кружил и пересыпал снег, шершавым языком зализывал санные пути и тропки, ровнял овраги, а за хатами и амбарами выметывал диковинными полукружьями сугробы с острыми гребнями.

Этой ночью вдруг прояснилось, и над Воробьевкой объявился молодой, чистенький месяц. Пока мело и вьюжило, он успел за тучами высветиться широким серпом, и от колодезных журавлей, перепутанных и запорошенных вишняков и жердяных изгородей на снег проронились робкие, нежные тени.

Воробьевка длинно, нестройно, перебиваясь пустырями, тянулась по крутому берегу речки, как раз по ходу месяца, и он за долгое раздумчивое свое шествие в ночи успел оглядеть каждое подворье, пересчитать стожки на огородах, выслушать всех воробьевских шариков и тузиков, разноголосых и тоскливых обрехивавших его из глубины заснеженных дворов.

Часу в третьем ночи, налившись голубоватым предутренним накатом, месяц повис над Алениной хатой, что сразу за овражком зачинала новый порядок Воробьевки, именовавшийся Березовскими высылками. Берез, однако, здесь никаких не росло, сама же Аленина хата в нахлобученной по самые оконца соломенной папаше, толсто укрытая снегом, одиноко маячила посередине разгороженной усадьбы.

Сквозь морозную ботву на стеклах месяца заглянул в кухню, осветил горбатый сундук под самым окошком, на котором, лишь недавно забывшись, Алена беспокойно переживала во сне нахлынувшие на нее события.

Вчера сына ее Севку выбрали председателем здешнего колхоза.

Весь вечер, буравя метельный снег, тархтел по Воробьевке трактор с двумя санными будками, собирал и свозил людей в правление. Алена тоже была на собрании, народу, несмотря на завируху, набилось полно, она сидела ни жива ни мертва, плохо понимая, что говорили и кричали, и все было, как на суду. Как на суду, пытали Севку про всю его жизнь, спрашивали, с чем пришел, как думает повести дело. Иные кричали против: мол, хрен редьки не слаще; иные вступались: дескать, ежели свой, так оно, может, и лучше будет.

Севка сидел за красным столом, между старым председателем Фролом Палычем и каким-то начальником из района, сидел насупясь, кусая губы, был бледен лицом, и, когда встречался с глазами матери, сердце у нее холодело от неприятного страха за сына.

Севка потом и сам говорил с трибуны речь. Алена тянула шею, слушала, но мыслями не могла поспеть за Севкиными словами, потому что неотступно думала: «Как это все будет?»

Вернувшись с собрания, Алена не могла уснуть, долго ворочалась на сундуке и под конец сморилась запоздалым, тяжелым сном.

Ей почему-то снилось, будто провожала мужа Степана на фронт. Привиделось все так, как было когда-то на самом деле, со всеми подробностями, какие теперь и наяву не всегда приходили на память. Как Степан, суровый и молчаливый, в чистой исподней рубашке, морщась от цигарки, старательно и пристально обвертывал новой портянкой ногу, положенную на колено другой ноги, как расправлял складки рядна и обхаживал ступню ладонью, а руки были темные от застарелого мазута, с белыми волосками на кургузых, негнучих пальцах. Перед севом или жатвой Степан, бывало, собираясь в свою бригаду, всегда требовал чистую рубашу и сам выкраивал из мешка, который поновее, свежие портянки, и в тот день, снаряжаясь на войну, он обувался так же не-

спешно и рачительно, будто шел на пашню перед страдой.

И еще привиделось, как на машинке перешивала Степану наволочку под заплочную сумку. У нее не нашлось белых ниток, она строчила черными, понимала, что нехорошо это, и сквозь застилавшие слезы видела, как по белому полотну ложилась черная кривая стежка...

И как потом Степан посадил на колени детишек — двух на правое, двух на левое — и говорил ей, чтоб ничего не берегла, если обернется круто, чтоб продала костюм его серый, который дали в премию, и часы именные, и велосипед, и лес, что берегли на новый сруб...

И даже то привиделось, как грохнулась она в Степановы сапоги и заголосила впричет, и все слова припомнились до единого: «Что же ты, Степушка, говоришь такое, будто и вернуться не собираешься? Да нешто мы ироды, чтоб продавать костюм, ни разу не одеванный, выжить тебя из собственной хаты!...»

Уходя, Степан в последний раз оглядел двор, ошкуренные лесины под плетнем и старую, осевшую набок хату. Одно было непонятно: и пиджак, и мешок белый за плечами были Степановы, как тогда, а лицом и голосом вроде бы Севка. И сказал он ей непонятное: «Полно убиваться-то, не на войну иду. Председателем выбрали!».

От этого сна Алена полоумно подскочила на сундуке, порывисто и шумно дыша, будто вынырнула из омута.

Освоившись с темнотой, Алена разглядела на стене у сенной двери пальто и сапоги под вешалкой. Все это была Севкина одежда, и, стало быть, никакой войны не было, а сам Севка мирно поспавывал в горнице.

В сенях проснулись и тихо загомонили гуси. Старая гусыня, чужая близкую весну, дробно стукотела в кухонную дверь, выщипывая войлочную обивку. Негромкий семейный гомоник птицы окончательно успокоил Алену, и она, перекрестив рот щепотью, опять прилегла на сундуке.

— Ох ты, мать божья! Привидится же такое...

Она уже не смогла больше уснуть и тихо лежала, перематывая, как пряжу с одного клубка на другой, бесконечные свои мысли, — начала со вчерашнего собрания, а незаметно перетряхнула все свое житье-бытье.

Месяц наискосок переместился из одного кружка оконца в другой, высветил из темноты осколок зеркала. Зеркальце это было вмазано в печь еще в давние времена, когда Алена ходила молодой и, бывало, возясь с горшками и ухватами, нет-нет да и посмотрится в

осколок, чтобы держать себя перед мужем в опрятности. Была она в свои годы не последней девкой. Правда, с лица не очень приметная, зато брала свое, когда не сидела сложа руки. Выйдет в круг — в плясе себя не помнила, ноги чуть ли не словами выговаривали «Чеботуху». Заведет частушку, голос — пей, не напейшься, ключ родниковый. А еще коса — ни у кого и на погляд такой не было: через всю спину коса ржаным перевясом. В работе и того всех пуще: мешок одной рукой за угол, другой за устье, а из-под низу коленом поддаст — и уже в телеге мешок как есть в шесть пудиков. Что стог свершить, что косой прогон вымахать — не столько работа казалась мудреной, сколь легка была девка на руку. Пока раздумывали нерасторопные воробьевские ухажеры, сама себе выбрала в поле жениха, приглубила эмтэзовского тракториста, тихого, застенчивого парня, безродного и пришлого откуда-то с донских низов.

Жили жадно, как и работали. За пять супружеских лет четверых ребятишек народили. Бывало, соседка Марья разжалостливится: ты, мол, Ленка, хоть годок передохни, поостынь малость, себя побереги, или времени больше не будет? А она раз за разом не только не портилась лицом и всем прочим, а еще пуще наливалась здоровой бабьей красой. Муж попался сговорчивый, работающий, бригада его была первой по району. Что ни сезон — премия, то деньгами, то часами, корову справили, всякую птицу, припасли лесу на новый дом. Както под Октябрьские Степан одним заходом себе велосипед купил, ей — швейную машину. Собирались жить прочно, на твердом корню.

И вдруг как обухом по голове — война...

Алена припомнила, как уходила на фронт воробьевские парни и мужики и как без них затаилась, притихла и обезлюдела Воробьевка. Будто стала ниже хатами, словно выросла в землю. А потом осенними забурьяненными дорогами накатил враг, вконец затоптал еще теплившиеся угольки привычной колхозной жизни. Все сразу оборвалось. Отбросил враг Воробьевку к самой черной нужде, к лучине, к знахарям и повитухам.

Поснимала Алена со стены Степановы грамоты, скрутила в трубочку, обвязала тесемкой и запечатала в кувшине воиной. Среди ночи закопала кувшин у огородной межи. Но кто-то донес, что муж ходил в ударниках, и начали выматывать душу: сначала корову отняли, потом забрали сено, в сене нашли велосипед со швейной машиной, а потом свезли лес на блиндажи да еще разобрали рубленую амбарушку.

Не сдавалась Алена, отбивалась от нужды, как могла, по окрестным деревням выменивала

на щепоть соли, на мучной обсевок последнее барахлишко. Только костюм Степанов остался на дне опустевшего сундука. Под конец пошла с сумкою молить людей, но костюма не тронула. Берегла, как затаенную свою надежду. Случалось, бредет безлюдным, стылым полем с разными кусочками в сумке, услышит самолет и скорее не глазами, а сердцем поймет, что свой. Будто со дна темного колодца, долго глядит на серебристый крестик. Уж и самолет скроется за далью, и гул его истает в морозной тишине, а она все глядит вослед, переполненная тоской.

Перед весной, по последним метелям, пришли наконец наши. Пришли и прошли, не задерживаясь, шляхом дальше, на запад. На другой день Алена обстригла и выкупала ребятишек, выскребла ножом половицы, отбила в мерзлой земле кувшин с грамотами и украсила ими горницу. Потом с ведром и тряпкой побегала мыть полы и окна в захламленном немцами сельсовете.

Припомнилось, как опять собирали колхоз: снесли припрятанные плуги и боронки, хомуты и еще кое-какой инвентаришко. Из жизни в общем хозяйстве оказались две нестроевые лошади, оставленные проходившим армейским обозом, да еще председатель — солдат на деревянной ноге.

По весне вся Воробьевка высыпала в поле. Первый раз за эти годы собрались вместе всей деревней. Вышли с детишками, ветхие старики и те выползли. Стаскивали с пашни сухой, застарелый бурьян, жгли большие жаркие костры. Люди хмелели от сквозного вешнего ветра, от крепкого запаха талой земли, но еще больше от ощущения пришедшей вольности. Война ушла куда-то далеко, лишь иногда кто-нибудь из детишек опасливо настоится, приняв за вражьи самолеты тяжелые клинья гусей, низко тянувшие у горизонта. Безногий председатель Усов в кургузой шинельке, увязая в оттаявшей земле деревяшкой, размечал загонки. У кого уцелели коровы, пахали на коровах. Алена сладила себе из приводного ремня лямку, подбила ее, как хомут, куском потника и, туго подвязав рушником живот, стала в плуг за коренного. Справа и слева, по четыре с каждой стороны, впряглись бескорые солдатики. Рассыпавшись нестройным полукругом, чтобы не мешать друг дружке, бабы налегли на построики. Лемех туго врезался в слежалую землю, медленно, неровно змеялся перевернутый синеватый пласт. «П-шол, п-шол, п-шо-о-ол! — подбадривал Усов, припрыгивая сбоку. — Еще чуток, бабоньки, еще нажмем, родненькие!» Бабы

пьяно раскачивались, с вытянутыми до земли руками, в упрямом молчании переставляли босые ноги. В конце гона они остановились, терли намученные плечи, измятые лямками груди, но никто не уходил из упряжки, не упрекал Усова за его просящее поноукание.

Может, все опять и вернулось бы к Алёне — бабу трудно сломать, пуще лыка она в жизни, — если б только Степан возвратился домой живым. Тем и держалась она, что ждала мужа. Но пришла бумага — и все впереди вдруг показалось ей непроходимою топью, и не видела она края той топи, и не пошла бы, не сдвинулась с места, если б не четверо ребятишек, из которых самому старшему, Севке, было всего девять годков. Тяжело приходила в себя овдовевшая солдатка, а оглядевшись, опять потянулась на люди. Она и без того уже была не той, прежней Алёнкой, какой ходила при Степане, а тут сразу как-то сникла, обвела, как надрубленная лесина. Все ушло, осталось самое необходимое, чтобы тянуть, кормить четыре рта: хребет да жилы. Да еще носа осталась, уже не ржаная, а пеньковая, все больше отдававшая холодной мертвяной сыростью. И вот это зеркальце... Год от года мазила и белила Алёна печь, обрастало зеркальце глиной и побелкой, уцелел от него глазок, не более пятака, и теперь, отражая свет месяца, глядело оно на Алёну печальным голубоватым глазком из далеких времен ее молодости.

Ободренные тишиной ночи, залихватисто пикали сверчки в лунном полусвете кухни. Но Алёна, думая о своем, почти совсем их не слышала. Привычное, обжитое трюканье сверчков отдавалось в ушах не задавающим внимание звоном, как извечный дух старой хаты, в которой она прожила во вдовьих трудах и заботах почти четверть века.

Последние десять лет Алёна жила с младшими детьми. Потом разлетелись и они. Осталась Алёна одна в хате, как старая картофелина в лунке. Еще и теперь под руку попадают к растрепанным, замусоленным пальцами задачник, то ссохшийся недомерок — башмачишко, а уже двое младших служат в армии, а дочь Настя замужем на разъезде.

Севка же ушел из дому еще подростком. Как занеладилось в те годы в колхозе, так и ушел. Хотел было пойти на курсы трактористов, по отцовской специальности, но за малолетство не взяли. Тогда он мотнул в город, поначалу пристроился у дядьки, плотничал возле него негласно. Дядька денег Севке не давал, а держал его при себе за харчи и одежду. Алёна и этому была рада, но Севка за-

своевольничал, отписал, что не хочет жить, как при старом режиме, и ушел в ФЗО. Школа эта оказалась и того лучше — на всем готовом. После ФЗО определился в техникум. Днем на производстве, а вечером учился. Последние годы работал прорабом на разных стройках, стал присылать домой деньги. Радовалась Алёна: выбился-таки малый в люди! И вот тебе на — бросил все, прикатил в Воробьевку. Да еще ползет в председатели, в самое ненадежное и колготное дело.

В сенях на насесте захлопал петух, пустил сонное колечко. Алёна сунула ноги в валенки, накинула на шею юбку и опять, остановленная думами, долго сидела так, с юбкой на шее, уронив руки на голые худые колени. Последнее время, томимая одиночеством, она подумывала о том, чтобы продать хату и перебраться к дочери на разъезд. Севку она считала отрезанным ломтем. Младшие, когда отслужатся, наверное, тоже не приживутся в Воробьевке. Осталась Настя. Алёна и порешила переехать к ней по весне, тем паче, что к этому сроку Настя выходит в декрет. Алёна сидела на сундуке, соображая все это, и ее порой заливала теплая волна радости оттого, что Севка теперь будет с нею, но этот радостный наплыв проходил, Алёно лицо опять становилось тревожным и озабоченным, как только она начинала думать о вчерашнем собрании.

Алёна оделась, растопила печь, пристроила на полу чугунок и сунула в угли утюг. Потом засветила керосиновую лампочку, осторожно, выбирая половицы, чтоб не пробудить Севку, прошла в горницу и присела перед Севкиным чемоданом. Из стопки белья, разостланного поверх каких-то книжек, она выбрала рубашку и бросила ее на стол. Вода по рубахе утюгом, Алёна поглядывала на Севку. Она глядела на него озабоченно, вопрошающе, будто оценивала сына.

Севка спал на боку, подобрав колени. Он отрывисто всхрапывал, вылезшее из наволочки рыжее петушиное перышко шевелилось под носом. Во всем облике сына было еще много от того, прежнего Севки, каким он еще жил дома, и в глазах Алёны, оглядывавшей его не крупное тело под стареньким байковым одеялом, теплилась тихая, грустная ласковость. Ей казалось, что вот сейчас он проснется, зажмурится со свету и, как бывало прежде, первым делом спросит про сапоги, которые частенько обувал в школу младшенький, Колька. Она силится представить сына в председательском кабинете, за столом Фрола Пальча. Как Севка бумаги подписывает, как дует на круглую резиновую печатку, как ругается на бригадира и стучит по столу. Но Севка никак не подходил

ко всему этому. Всякий раз в ее мыслях Севку заслонял собой Фрол Палыч, неприступно грозный и дюжий, под которым «победа» кособочилась, когда он садился за руль, а уж если громыхнет в сердцах кулаком по столу, в соседней бухгалтерии останавливались ходики... «Кремень человек, а ведь тоже не удержался, — глядя на Севку, подумала Алена о Фроле Палыче. — Мой уже восьмой по счету. Ох ты господи!»

Алена выгладила рубашку, повесила на спинку кровати. Постояла с утюгом в опущенной руке, прикидывая, что бы еще такое сделать. Сегодня Севка в первый раз пойдет в контору как новый председатель, и надо бы, чтоб все на Севке было хорошо и ладно. Расправляя под утюгом складки, нащупала что-то во внутреннем кармане, мешавшее гладить. Алена отстегнула булавку и вынула красную книжечку, перевернутую прозрачной слюдой. На ее щеках из-под старческой желтизны пробился девичий румянец радостного и горделивого смущения. Она бережно положила книжечку на край стола и взглянула на Севку.

Севка не спал.

— Вынула я, чтоб утюгом не попортить, — виновато забормотала Алена. — Я обратно положу...

— Ничего, мама. Тебе можно, — сказал Севка.

— Полежи еще, сынок. Только доярки на утреннюю прошли.

Севка достал из-под подушки пачку папирос, закурил, перевернулся на спину, закинул руки за голову, задумался, разглядывая желтый подтек на потолке.

— Сева, может, отцов костюм достать? — несмело сказала Алена, разглаживая пиджак.

— Не надо, мама. Пусть лежит.

— Сколько ему лежать-то? — Алена отвернулась. — Того гляди, моль погрызет. Я уж и так табаком да донником пересыпаю. А только про кого теперь беречь? Надевай, чего уж...

— Николай скоро вернется из армии, подари ему, — сказал Севка. — У него нету.

— Ну, смотри... А то ни разу не одеванный. Вот и одел бы в память об отце. День-то какой! В первый раз ведь идешь. Народ на тебя глядеть будет... И я бы посмотрела... Ты совсем как Степан стал.

— Ни к чему мне рыдиться, — сказал Севка. — Не на смотрины иду. Вон, гляжу, крыша протекла. Перекрыть бы...

— Да теперь уже до новины. Теперь и соломы во всей Воробьевке не сыщешь.

На кухне зашипили угли, Алена всплеснула руками, — батюшки, курица перекипит! — зашлепала валенками к печке, В кухне стблк-

нулась с соседкой Марьей, полной, круглолицей, в суконной шали поверх ситцевой блузки, с бордовыми от мороза, огоренными по локоты руками.

— Здравствуй, соседushка! На дворе хорошо-то как! Морозно! Чисто! — веселым шепотом загомонил Марья. — Как раз как Фрола скويرнули, так и погода стала. К добру, не иначе!

— Дай-то бог!

— Спит еще? — округляя глаза на дверь в горницу, спросила Марья.

— Проснулся.

— С тебя, девка, магарыч.

— С чего это?

— Да как же! Теперь ты председателюша.

— Какая я председателюша! — Алена задремала и, пряча смущение, подперла щеку кулаком. — Молодой больно. И не знаю, как это он будет...

— Ничего, Ленка, ничего, — горячо зашептала Марья, — не бойся, выладняется. Слушала я его вчера. Видно, что от души парень берет.

— Правда, Марья, правда! От души... Сам надумал. Какую должность в городе бросил... Недавно квартиру дали. Печку не топить, за водой не бегать, все как есть приспособлено. Тоже оставил. А только не знаю, как он тут будет... Не грядка с луком. Одной земли сколько!.. Машины. С людьми надо ладить. Сама знаешь, народ-то у нас всякий! Ох, боюсь я, Марья! Не шутейное это дело! Пособить бы ему.

— Про это и говорить нечего, — кивнула Марья. — Что же мы — сами себе лиходеи? Не понимаем? Пособим! Жить в этой хате останетесь?

— А где же еще?

— Я б в Фролов дом переехала. Фрол Палыч все равно здесь небось не останется. Да и дом-то не его, колхоз строил.

— Не знаю... Нешто можно так-то? Против людей совестно. Не успели выбрать — сразу в дом. Сева говорил, свою перекрывать будем.

— Ой, пойду, девка! Пришла на минутку, а стою-то сколько! Настя-то как? Ладит с мужем? Заговорили про Настю.

— Живут ничего, муж хороший, старательный, недавно дорожным мастером назначили. Настя кассиршей было устроилась, да вот рожать собралась, дома теперь. Хотела к ним перебраться. Да теперь не придется. А то ведь корову им отдала, сама знаешь, тут не прокормишь, а там обочь дороги малость накашивают... Как она теперь будет с коровой, сама тяжелая... Ничего живут...

— Побегу! Кланяйся Всеволоду-то Степанычу. Скажи, пусть не сумлеается.

Марья в который раз уже запахивала на груди концы шали, но находились новые и новые разговоры. Наконец Марья убежала, а вслед в кухню прилепал босиком Севка за сапогами.

— С кем это ты, мать?

— Марья за солью приходила. Кланялась тебе. Носки, Севка, в печурке. Тепленькие.

Алена остановилась у дверного косяка, спрятав руки под передник и молча наблюдала, как Севка обувался. Сунув ногу в голенище, он с кряком надел сапог, встал, промялся, пошевелил носком, укладывая ногу полочнее, и принялся за вторую. Алена смотрела на это мужицкое дело повзрослевшего сына со вниманием и грустным удовольствием, видя в Севке прежнюю отцовскую обстоятельность.

Обуешишь, Севка стащил с себя майку, вышел во двор и вернулся до пояса мокрый и красный, сыпучий, морозный снег набился в его растрепанные волосы.

— Хор-рошо-о! — крикнул Севка, ловя брошенный Аленой льняной чистый рушник. — На лыжах у вас тут бегают?

— В школе ребяташки балуются, — сказала Алена.

— Обязательно заведу лыжи.

— Будет тебе когда...

— Найду!

Севка попросил плеснуть кипятку в пластмассовый стаканчик, сел в горнице к столу бриться.

Алена, взясь за завтраком, размышляла над Севкиной ребячьей беспечностью — «вот лыжи еще на уме» — и, выждав момент, спросила из кухни с тревогой:

— Что ж ты, Сева, сам-то как?.. Не боишься?

— Чего бояться надо? — откликнулся Севка.

— Да вот председателем идешь...

Севка долго не отвечал, и Алена ждала, прислушиваясь к тому, что делалось в горнице. Не дождавшись, тихо подошла к двери, прислонилась седым виском к притолоке.

Севка скобил безопасной бритвой щеку и одним глазом сердито, напряженно косился в круглое зеркальце, приставленное к стаканчику. Не отвечал потому ли, что не вовремя Алена подроспела с вопросом, — как раз языком подпирал изнутри щеку, чтоб ладнее было бриться, а может, думал, что сказать. Заметив мать, Севка посмотрел на нее остро и цепко, но тут же бросил на стол бритву и распахнулся широкой, простодушной улыбкой.

— Знаешь, мама... Если откровенно — малость боязно...

— Тогда как же ты...

— А все равно пойду.

Севка сердито закрутил помазком в мыльнице, но тут же, отодвинув прибор, хлопнул себя по коленкам.

— Вот ты говоришь — в городе на хорошем месте был. Что ж, был... Но вспомню, что вы тут наперекосяк живете, — веришь, не могу! Работа из рук валится. Раз десять ходил в обком, просил, чтобы сюда направили. Мне бы, мать, за этот лежачий камень получше вцепиться. Вагу под него подсунуть. Да народ на это дело скликнуть. Тогда-то уже мы его перевернем мокрым местом на солнышко!

Алена сочувственно смотрела на сына, — лицо было знакомо до мелочей, но за мальчишеской быковатостью проступало что-то новое, придававшее Севке незнакомую жестковатую суровость.

— Так-то оно так... Да только будут ли тебя, сынок, бояться?

— Это зачем?

— А то как же? Без этого нельзя. Какая же из тебя власть, ежели бояться не будут?

Севка расхохотался, развел руками:

— Да разве я княжить сюда приехал? Разве Воробьевна вотчина моя? Эх, мать, все перепуталось в твоей головушке. Родина моя здесь, хата, ты здесь, дружки-товарищи, с которыми еще по садам лазили. Завяжи глаза — в каждую хату ход знаю... Зачем же чтоб боялись меня?

— А затем, что Фрол Палыч на что строг был, а тоже не удержался.

— Фрол Палыч! Привыкла ты: если по столу кулаком стучит, так тебе и власть. Негоже это. Давай выпрямляйся.

Севка плеснул горячей воды на конец полотенца, вытер лицо, подошел к матери, обнял ее за плечи.

— Ты ведь теперь председательша! Раздайся, народ, Алена Дмитриева идет! Так-то!

— Подь ты к лешему! — отстраняясь, замахала руками Алена. Ей было радостно, что Севка с ней так шутит.

— Хочешь новое корыто? — смеялся Севка. — Старое, поди, совсем уж развалилось?

— Цело, цело корыто-то! — отмахивалась Алена.

— Эх, мать, мать! Вот, гляжу я, в святом углу новые угодники прибавились. Это кто же вон тот, который справа?

— Иоанном Рыльским знающие люди зовут.

— Да... Видишь, как оно все поворачивается... А по-нашему, знаешь как: бог-то бог, да сам не будь плох! Держи хвост πιστοлетом!

— А ты бы, Сева, не смеялся. Нехорошо это.

— Я и не смеюсь. Тут смех невеселый... Я ведь знаю, что тебя тревожит. Хочешь, скажу?

— Да чего уж...

Севка подвел мать к лавке, бережно усадил, сел рядом.

— На кой ляд, думаешь ты, лезу я в это дело? Не один голову свихнул... Так ведь?

— Разное думала, — смутилась Алена. — Вот гляжу я на тебя, сынок, и радуюсь: хорошо, что приехал, ласковый, поговорить об чем... Одна ведь и осталась... А подумаю, как ты на себя все это взвалишь... Молодой, доверчивый... И провести могут... Разве я тебе худа желаю? В городе оно понадежнее...

— По-разному и в городе живут, — сказал Севка.

— Ох, не скажи, Сева! Против Воробьевки, наверно, нигде хуже и колхоза нет.

— А почему, мать, как думаешь?

— Ох, не знаю, сынок, не знаю...

— Нет, в самом деле?

— Да ведь откуда хорошему быть-то? Тракторами бьют-бьют землю, а чтоб ей чем-нибудь пососить — навозу или каких удобрений, — нету хозяина. Одно слово — сиротой растут хлеба, по пустой земле. Сева, милый, разве это хорошо? И государству обман, и нам. А ведь земля-то у нас какая, сам знаешь. Покойника хоронят — до глины не докапываются, так в черную и засыпают. Нашей ли земле не родить, если с нею-то по-хорошему?

Севка закурил и, пуская под ноги дым, подбрлил:

— Давай, давай, мать, выкладывай. Тебя не послушать — так кого же еще?

— Да что слушать-то? Я-то теперь одна. Мне и этого, что дадут, хватит. А когда вот четверо было — покрутись! Одних ботинок четыре пары, да пальтишек, да штанов, да рубак. Прорву всего надобно. А вы, проклятушие, — как бес на вас ездит, — по плетням да по грязи в месяц все изорвете. А откудова, скажи, у меня деньги такие?

Алена поднялась со скамьи, подперла бока кулаками, расставив ноги; сухое, заветренное лицо сделалось по-бабы жестким. Незаметно для себя она все больше распалась и распалась, и уже не говорила, а выкрикивала, вздрагивая большим, выпуклым животом, тряся оборками передника.

— Скажи, не правда, что ли? Сам знаешь, как было. Тяпаешь-тяпаешь в поле, да и думки возмут: «Стой, девка, — Колке с Настькой в школу скоро идти, хоть по ботинкам купить-то, босые ведь». Аванс будет или нет — жди его. Схватишь пару куриц — да на станцию к поездам. Бежишь, а сама озираешься, чтобы Фрол Палыч не перелучил, а то матюков в горб на-

толкает: почему, мол, не в поле? Я ли, Сева, сынок, не работала? Бывало, где мужики, там и я...

Пока Алена говорила, Севка, сжав потухший окурок в зубах, закинув за спину руки, как был — в майке, ходил взад-вперед по горнице, крепко ставя ноги и упрямо, по-бычи, нагнув голову. Рыжим бурьяном топорщился непричесанный, мокрый со снегу чуб, отчего и сам Севка казался колючим. На его обтянутых, только что выбритых скулах ходили зубчатые желваки.

Алена, выкричавшись, вдруг обмякла, притихла, будто жарко сгоревший сноп соломы. Она как-то виновато посмотрела на Севку, влажневшими глазами, взяла со стола пластмассовый стаканчик и ушла на кухню.

Севка остановился перед окном, засунул руки в карманы галифе, уставился в рассветную синеву. За окном тягуче визжали сани, фыркала лошадь. Чей-то озябший голос нетерпеливо понукал: «Но-о! Спотыкайся мне!»

Воробьевка пробуждалась.

— Садись, Сева, завтракать, — сказала Алена.

Она накрыла на стол. Принесла отваренную курицу, миску с солеными огурцами, на середине стола поставила большую глиняную чашечку с густо парившей картошкой. Озабоченно оглядев стол и что-то вспомнив, Алена полезла в подпол, достала кувшин с квасом и, обтерев горлышко ладонью, поставила на стол.

За синеею окном послышался тяжелый скрип шагов. В сених замесились переполошенные куры, и в хату, пригибаясь и курясь холодным воздухом, ввалился Фрол Палыч. Постучав у порога валенками и дернув с головы кожаную шапку, подбитую колючим инеем, он, ни к кому не обращаясь, спросил: «Дома?» — и прямо в полушубке вошел в горницу. Тяжелое задубелое лицо было багровым с мороза, резко отделился седой ежик на голове.

— Здоров, Севк, — скорее не словами, а сиплым, глубоким выдохом сказал он и подвинул к столу табуретку.

— Здравствуйте, Фрол Палыч, завтракать с нами.

— Разделись бы, — попросила Алена с почтительной робостью. Фрол Палыч ни разу у них не бывал раньше и теперь в ее маленькой хате, в домашней близости, казался еще больше и грузнее того, каким она видела его обычно в конторе и на колхозном подворье. — У нас жарко, батюшка. Печь топлена.

Фрол Палыч досадливо отмахнулся, отодвинул миску с огурцами и положил на край стола локоть.



— Идешь? — спросил он.

— Позавтракаем и пойдем, — сказал Севка. — Успеем. Скинь полушубок.

— Так... — выдохнул Фрол Палыч, оставив без внимания слова насчет полушубка. Мигая мокрыми, оттаявшими ресницами, он уставился на Севку. Он смотрел на него хмуро, исподлобья, и Алена, не понимая его намерений и почуввав в этом недоброе, угодливо пододвинула ему курицу.

— Кушайте, Фрол Палыч, — сказала она, суетливо застала рушником коленки его ватных брюк.

Этот суровый, молчаливый человек, уже сваленный под корень воробьевцами на собрании, для Алены все еще был полон магической силы власти. Теперь она уже не могла себе представить, что власть у него отнята и передана ее сыну.

Фрол Палыч сдернул с колен рушник и, не оборачиваясь, сказал Алене:

— Дай-ка еще стакан.

Он отвернул полу, вытащил поллитровку «Столичной», не торопясь, сосредоточенно вышиб пробку в кулак и поставил на стол.

Севка, перестав есть, выжидающе глядел на старого председателя.

Фрол Палыч налил два стакана, кивнул:

— Тяни.

Севка молча покачал головой.

— Ты чего? — Фрол Палыч задержал свой стакан в руке.

— Не могу, Фрол Палыч.

— Но... Это ты брешь... Со всякой сволочью не пей. А со мной — можешь...

— Ты, Фрол Палыч, не подумай...

— Хитришь?

Фрол Палыч выпил и, плаксиво сморщившись, засопел, шумно выдыхая водочный дух, подтянул к себе курицу, с хрустом выкрутил из нее ножку.

— Черт с тобой! Я на тебя не в обиде. Садись управляй, — сказал Фрол Палыч. — Я старый колхозный конь, и на меня еще хомут найдется...

— Не в хомуте дело...

— Не тут, так еще где-нибудь. А ты, же-ребчик, пойдй попробуй.

— Ну что ж, попробую.

— Быстро холку набьешь!

— Да ты закуси, батюшка! — вмешалась Алена, робея от крутого разговора и поглядывая то на одного, то на другого. — Что ж так-то, не закусишь?

Фрол Палыч, покосившись на Алену, взял Севкин стакан и выпил одним духом. Скривившись, долго ловил заскорузлыми пальцами скибку огурца в рассоле.

— Ты думаешь, в легких дрожках бегать будешь? Дудки. — Он показал Севке куниш с белыми огуречными семечками на прокуренном ногте.

— Знаю, Фрол Палыч, в какие оглобли становлюсь.

— Ну вот то-то... Зануздают тебя, голубчик, натянут вожжи, чтоб ни туда, ни сюда, да кнутом, кнутом, ежели станешь брыкаться.

— Это кто же меня кнутом-то? — просто-душно усмехнулся Севка.

— Не маленький, сам знаешь.

— Ну что ж, — кивнул Севка. — Могут и подбодрить, если постромки ослабнут. Тут ничего плохого нет. За вашим братом председателем того и гляди да гляди. А то иной так завезет...

— Ну конечно! Не туда завез... Ты вот на все готовенькое идешь. Машины — полный комплект. Электростанцию пустил. Клуб построил. Контора с иголки. Шесть лет хорош был. По президиумам сидел. А на седьмой не угодил.

В Севкиных глазах стеклянным осколком сверкнул смех.

— Сначала, может, и правильно тебя в президиум сажали, — сказал он. — А потом уж и по инерции пошло. Тебе там, видно, очень понравилось.

— Не напрашивался, сами сажали.

— Нет, напрашивался! На фасад работал. Клуб с колоннами! Мебель мягкая! А народ из деревни бежит. Звеньевые в няньки в город подались. Брось, Фрол Палыч, пострадавшего разыгрывать. Скажи спасибо, что так обошлось. А могли и под суд закатать.

— Это за что ж меня под суд?

— А я скажу.

— А ну, скажи!

— Скажу! — Севка отбросил вилку, вышел из-за стола. — За то, что землю уродуешь.

— Ну, ну, послушаем умника!

— Ты в прошлом году семенную пшеницу в закуп сдавал? Сдавал!

— Ну и что? Без семян не остались.

— Не остались... А где ты их потом брал? Ты их в «Красном пахаре» на суперфосфат выменял!

— Врешь! — Фрол Палыч грохнул кулаком по столу. — Врешь все!

— Сейчас зайдем к агроному, сверимся.

— И он врёт! Суперфосфат весь по назначению внесли. Посмотри посевные акты.

— По актам все правильно. А если по советам, то не сходится. Удобрения на сторону сбывали, а сажали на пустой земле. Мне вчера агроном после собрания все выложил. На собрании сказать побоялся, а потом догнал на

улице и рассказал. Ты его сам уговорил показать в актах, что удобрения вносились. Мол, про это никто не узнает. А если целый клин без семян останется, скандала не миновать. Запутал человека — он и подписал.

— Не верь ему! Теперь начнут валить на серого.

— Ладно, ему не верить — земле верю. Ты на Кобыльем клине по одиннадцать центнеров взял. А «Красный пахарь» на том же бугре, только по другому боку, по восемнадцати собрал. На твоём-то супере.

— Это еще доказать надо... — Фрол Палыч взял со стола бутылку, покрутил в ней остаток. — Может, все-таки выпьешь? — сказал он хмуро.

— Нет. И тебе не надо. Тебе еще дела сдавать.

Севка перехватил было бутылку, но Фрол Палыч сердито вырвал ее и вылил в свой стакан. Выпив, он как-то сразу захмелел, сник головой, на коротком ежике бусинками проступила испарина.

— Агроном — сволочь... — пьяно бормотал Фрол Палыч. — Тряпка... Гони ты его в шею... У, стервецы!

— Ладно, разберемся. — Севка, уже одетый, тронул за плечо Фрола Палыча. — Пошли? Тот тяжело поднялся, обдав Севку запахом овчины из распаренного полшубка, нахлобучив шапку.

— Мать, обедать не жди.

Алена ткнулась в Севкину грудь, беззвучно заплакала.

— Ну, ну, будет!

Фрол Палыч и Севка вышли. Хлопнула сенная дверь, потом калитка...

За окном слышались шаги: тяжелые, скрипучие — Фрола Палыча и мягкие, ровные — Севкины.

— Ну, пошел! — проговорила Алена, оставившись посреди горницы. — Пошел Севушка... Дай-то ему бог.

Она метнулась к окну, но окно было доверху схвачено толстым морозным инеем.

Иней полыхал розовым рассветным огнем.

## ПОДПАСОК

Жаркий августовский полдень.

Выжженный, порыжелый на буграх выгон залит недвижимым, дремотным зноем. Дрожит, збытис горячий воздух, и спуют в нем медным, зудящим гудом остервенелые оводы.

Подпасок Митька в глубоко надвинутом картузе, так что доньшко выперло острой макушкой, сидит на бугре, на солнцепеке. На плечах внапашку старая ватная стеганка, под ней спрятана от солнца сумка с едой. По бугру длинной серой змеей распаласлся кнут, тяжелый, грубо свитый из прорезиненных обрезков. Кнут не его — деда Сереги. Дед уже неделю как хворает, говорит, «перелекся али воды попил как человек», и Митька попросил у него кнут в знак своего теперешнего старшинства и единовластия.

— Бери, бери, — прошамкал дед, мелко дрожа каждым волоском сивой клокастой бороды. — Вон он, под сараем на перемете висит... И бабку мою бери... себе в подпаски... чтоб трудодни зазря не пропадали... А я тем делом, может, от хворобы опростаюсь.

Недвижно висит жидкое, оплавленное солнце в белесом небе, лениво течет скупое на бег пастушье время. Еще только полдень, а уж намаялся со скотиной Митька, ног под собой не чувствует. В нынешнем году никак не держат бестравные луга стада. Из всех мест эти болотца самые спокойные. Вода да зелень осок надолго приманивают скотину. Он и так ведет стадо осмотрительно, расчетливо, больше низами — по торфяникам да по лознякам: все укормистее, чем по суходолу.

«Оно, конечно, — размышляет Митька, — хорошо бы теперь свежей резки подвезти. Да где там! Нынче опять упустили кукурузу. Сорняк забил».

Вот и гоняет Митька скотину, изловчается, как может, день — так, день — этак, день по солнцу, а назавтра — против. Больше на этой круговине ничего не придумаешь. А если по совести, то один леший — что по солнцу, что против: мается от бестравья скотина.

Поглядит из-под картуза Митька, не балуют ли коровы, на бабку на дальнем бугре по ту сторону стада — стоит бабка, подперев клюкой подбородок, сухоногая, в белой низко спущенной косынке, издала похожая на черногузку; переведет взгляд на сосняк, окаймляющий выгон, даже отсюда душный и неприятный своей жаркой сухостью, потом на курган с плоской макушкой, соломисто-желтый от выжженной травы на склонах, — и опять устремляет глаза в землю. Сколько раз за лето глядел-переглядел и на курган и на лес, так что теперь они вроде пустого места. А окромя и глянуть не на что. Разве на самолет лениво вскинет голову Митька, день за днем об эту пору пролетающий над выгоном. Высоко-высоко над всем этим маревом прохладно проблестит с нагульным гулом серебряный крестик и опять

истает в полинялом небе — загадочный и, как звезда, далекий от Митькиных забот и жизни.

А проводив самолет, долго ковыряет ногтем бесчисленные занозы от татарника в своих задубелых ногах или глядит, как, упоенная зноем, стрекочет на кнуте серая кобылка. От этого жаркого стрекота Митьке еще больше хочется пить, но он притерпелся и лишь облизывает корявые, в белых ошметках, заветренные губы. Ждет, пока скотина вволю налазается по осякам.

Через четверть часа коровы, истоптав вдоль и поперек болотце, обглодав корявые, уже не раз обглоданные лозняки, начинают разбредаться, и Митька расслабленно поднимается, нетерпеливо идет впереди стада, волоча за собой длинный, пыльно змеящийся кнут. Вслед за ним с дальнего косогора молчаливо, как тень, снимается бабка.

К обеду Митька наконец выгоняет стадо к реке, на дойку. Доярок еще не видать. Коровы забредают поглубже, пряча брюхо от оводов, долго и пристально тянут теплую на песках воду. Митька, сбросив ватник и зайдя выше коров, тоже лезет в реку прямо в незакатанных штанах, зачерпывает картузом, пьет, а остаток выплескивает себе в лицо, за пазуху. Потом выбирает кручку повыше, садится, свесив ноги с обрыва.

Побединцы пригнали к реке свое стадо раньше. Двое старых пастухов уже храпят под ракитой, пастушата на песке режутся в карты. Одного, рыжего, Митька знает — это Карпуха, остальных двух не разобрать. Хохочут, макают друг друга за чубы в песок — в дурачки играют.

Митька с завистью глядит на реку. Весело там! И все в этой «Побезде» лучше ихнего. Что скот взять. Кинул Митька наметанным глазом — побединское стадо раза в три больше, скотина справная. И заводу хорошего — почти сплошь черно-рябая. Вдалеке за лугом, под самыми дворами два бруска белеют — новые коровники. А за деревней среди желтого жнивья еще три красных бруска — то уже побединские свинарники. Из кирпича набузовали, один в один. И деревня у них справная. Промеж зелени белеет черепица на крышах, а то и цинком есть покрытые. Вон блестит под солнцем, точно зеркалом выставлено. Это клуб. Радио слышно. Если бы не трактор, всю до слова песню разобрать можно.

Поискал Митька трактор, нашел: кукурузный силос возле фермы буртуют. Упрямым черным жуком ползет на крутую сизо-зеленую кукурузную гору, надрывно ревет мотором, а

одолев, стихает довольно и сваливается за другой склон. И опять радио слышно, поет что-то веселое... Живут люди! Прямо на лугу «елочку» поставили. Митька, правда, сам не видел, только слышал, как она жужжит утром да вечером, но дед Серега ходил, смотрел: занятая, говорит, штука, коровы так и отскакивают. И дояркам, понятное дело, облегчение. Их, окромя того, еще и на машинах возят, — как солдат, в кузове.

Скосил Митька глаза на свою Показиловку — скука смертная, а не деревня. Как есть вся под соломой. Коровник и тот камышом крытый. Только в одном месте, у ставка, кучерявятся ракирки, а так все голо, перед хатами рыжая ботва картошки да черные кучки торфа понизу. Да еще черное тырло на отшибе, а посреди черного два пестрых пятна — две заболелые коровы.

Даже луг у побединцев кажется Митьке лучше, зеленее. Может, оттого, что ракирки по берегу тень бросают. Только дед Серега говорил, что они его весной чем-то посыпали. Может, и от этого.

Тем временем пастушата побросали карты, сели обедать. Из костерка выгребли печеные яйца, вытрясли из сумок помидоры, лепешки. Поевши, Карпуха выкопал из сырого песка под ракирой два огромных арбуза, ополоснул их в реке и, весь перегнувшись, потащил их в поле рубахи товарищам. Разрезал арбуз ножом на животе, поддел крышку — даже отсюда видно, что спелый.

«Ишь жируют, черти мордастые, — незлобиво подумал Митька, — на бахе натибли». И сам тоже полез в сумку. Достал кусок мелко нарезанного старого сала, ломоть хлеба, два огурца, стал жевать безо всякой охоты.

На той стороне показывается грузовик, с верхом заваленный свежей кукурузной резкой. Выруливает к берегу, медленно петляет между ракирами. Две бабы, поочередно поддевая вилами, сбрасывают резку на землю. Стадо поднялось с песков, бредет следом. Повеяло мучняным, теплым кукурузным духом.

Митькины коровы тоже обеспокоились, подскочили. Тянут морды, нюхают воздух. И не успел Митька сообразить, как валом полезли в воду. Митька забежал наперед по мелкому, яростно полоснул перед мордами кнутом, завернул стадо. А с другого края, с самого обрыва, плюхнулась и поплыла на ту сторону чернотелка. Переплыла, отряхнулась на песке и побежала, нетерпеливо мыча, к машине.

— Не могли в другом месте посыпать! — сердито проворчал Митька.

И, сложив ладони, крикнул:

— Карпуха-а! А Карпуха! Пужани корову! Корова переплыла-а!

Карпуха задержал у рта большой ломоть арбуза, прислушался...

— Чего?!

— Корова переплыла!

Карпуха лениво перевалился на другой бок, с шумом выплюнул в воду струю арбузных семечек, крикнул ехидно:

— Спи больше!

— Да не спал я!.. Увидела машину и переплыла...

Карпуха опрокинулся на спину, замотал ногами:

— Ой, умора! Увидела машину... Ну, сме-хота!

— Пужани, Карпух! — просительно крикнул Митька, глотая насмешку. — Чего тебе стоит?

— Нам ничего не стоит. Нехай побудет у нас. На курорте. Харч подходящий.

Пастушата дружно захохотали.

— Да мы что, не кормим, что ли? — обиделся за коров Митька.

— Оно и видно! Могу отсюда ребра пересчитать...

— У нас, может, поболее вашего кукурузы, — не очень смело соврал Митька.

Уж слишком обидно ему было слышать ядовитые Карпухины слова.

Карпуха опять запрокинулся на спину, загорланил нараспев:

У меня есть сапоги,

Берегу их к лету...

А по правде вам сказать —

У меня их нету.

Пастушата опять угодливо расхохотались, а Митька замолчал и долго с колючей горечью в горле смотрел на равнодушно бегущую воду.

— Эй, «Светлый путь!» Держи за свою корову! — Карпуха швырнул через реку недоеденные пол-арбуза. — Больше она не стоит.

Половинка шлепнулась в реку, напугав накутую то рыбью мелочь.

— Наворовали арбузов, а теперь расшвыриваете? — крикнул Митька, чтобы тоже сказать что-нибудь в отместку.

— А ты что за указчик? Ты в своем колхозе указывай, а на чужой берег носа не суй. Откусим. Мне председатель сам говорил: «Ежели надо — бери, сколько хочешь, не стесняйся». Понял?

Митька никак не мог поверить, чтобы ихний Трошин так-таки за мое почтение разрешил Карпухе шастать по бахчам.

— Врешь все! — крикнул он,

— А хоть бы и наворовали! Это все едино! У себя ворую, не у вас, — задористо, с гордецей отбрезнулся Карпуха. — У нас этих арбузов — завались. Нам арбузы нипочем, мы миллионами ворочаем. Понял?

— Понял, — язвительно проговорил Митька, но кричать через реку ничего не стал: что зря с дуроломом разговаривать?

— А ты рад бы украсть, — не унимался Карпуха, — да у вас нечего.

— А мне и не надо, — сам себе отвечал Митька. — Чем хвастается! Услыхал бы Трошин...

— Ага, заело? — Карпуха заложил два пальца в рот и засвистел. — Замолчал? Все вы там голопузые! В нашем селыпо селедку положили!

Митька в бессильной обиде за своих односельчан облизал сухие губы, крепко сжал кулаки.

Насчет селедки — по весне раз было. Ходили в ихнее селыпо. Потому как в покатиловский магазин ничего не завозили — дороги не было. Запомнил, гад! Только не ему, мордастому, говорить это... Тоже работник обьявился! За чужими руками да ногами. Побегал бы он с Митькино. Им что! Вон засыпали резку — и часа два хоть в карты дуй, хоть под кустом дрыхни. Да и сам Карпуха не больно-то разгонится. Все норовит вместо себя ребятишек послать. Зануда малый! На той неделе рыбу глушил, мешок судаков выгреб. Все мало ему, куркулю рыжему.

— Ну ладно тебе трепаться! — крикнул он, сдерживаясь. — Гони корову! Тебе — шалдыбалды, а мне — скоро дюрки подойдут, доить надо.

— Молоко — это уже дудки! Молоко — наше. Кукурузу жрет? Жрет! Смотри, как умнает! Значит, давай сюда молоко. А как же? По совести!

— Только тронь корову! — хмуро крикнул Митька.

— «Тронь», да? На спор? — Карпуха вызывающе осклабился.

— А вот попробуй...

— Ну, поглядим, поглядим... — И, обернувшись, крикнул пастушонку: — Степка, дуй за ведром.

Митька закипая холодной, удушливой яростью, бледнея лицом, дрожащими пальцами растегнул ремень штанов, стащил рубаху и, забыв о картuze, неожиданно нырнул с обрыва. Выплыл он на середине на мелком и, подбывая воду коленками, сразу пошел на ту сторону. Пятнадцатиметровый крученый кнут, луская по воде усы, живой зловещей змеей вползился за ним.

— Ребята, не бойтесь, — рыкнул Карпуха, вскакивая с песка. — Пусть сунется...

Но Митька, бугаем нагнув голову и глядя на побединцев сузившимися глазами из-под обвисшего, мокрого картуза, не убавил шагу. Его гнала, подталкивала нестерпимая, гневом заклокотавшая обида и за себя, и за своих коров, и за «голопупых» покатиловцев, за «слопанную» сеledку, за это сытое, самодовольное глумление, — будто и впрямь был виноват Карпуха во всех тех бедах и прорехах голой, соломенной Покатиловки.

У берега Митька приостановился, подождал, пока течение вытянет кнут, чтобы можно было в любую минуту поднять его в воздух.

Страшная это штука — пастуший кнут! Полоснет дробового ружья. Полоснет вокруг ног, обожжет, свалит на землю...

Карпуха растерянно попятился.

— Ну, гад, подступись! — сказал Митька решительно и угрожающе, выходя на берег.

И, не глядя больше на Карпуху, по берегу же, держа кнутовище в вытянутой назад руке, голым ошетенным бесом пошел к корове.

Притихшие пастушата видели, как Митька обвязывал кнутом рога первотелки, подтянул ее к воде и там толкнул в зад обеими руками.

В тени, под ракитой, проснувшись старые пастухи — Иван и дед Коля, заспанные, крутят цигарки.

Митька, все еще не остывший от обиды, хотел было пройти мимо, но дед Коля закивал взлохмаченной головой, подзывая:

— Иди, милоч, покурим!

Митька, подумав, пошел в чем был, голый, в мокром картузе.

— Опять поцапались, петухи? — сказал дед Коля, протягивая Митьке черной, костлявой рукой кисет, сытно пахнущий махоркой с донником.

Митька помолчал, не стал жаловаться.

— А чтой-то, гляжу, деда Сереги твоего не видать?

— Не вышел нынче, — Митька крутил цигарку, просыпая желтую крупитчатую махорку на мокрые колени, — слег дед.

— Скажи ж ты! Ай-ай! — горько зажмурился дед Коля. — Не выдержал, стало быть. Сморился... Известное дело! По таким-то лугам, как ноне... Один, выходит, справляешься?

— С бабкой.

— Бяда! Чистая бяда!

Попыхтели цигарками, оглядели друг у друга кнуты. У побединцев ременные, обхлыстаные о траву до блеска. Сухие, легкие кнуты, с желтыми латунными колечками.

— Слышь, а вашего Сорокина опять в районной газете пропесочили, — сказал Иван, на-

смешливо глядя на Митьку единственным взглядом. — Не читал? Могу дать почитать. За брехню. Поглядишь — с виду птица: гимнастерка с карманами, ремень офицерский на пузе, сапоги начищенные, — а выходит, брехун. Потеха!

— Не в ремнях краса, — сказал дед Коля. — Вон наш Трошин... Ни с заду, ни с фасаду... При нем только жилы. Да еще совесть...

— А что, Митька, — опять начал Иван, — все к тому склоняется, что присоединят к нам вашу Покатиловку.

Митька молчал, тоскливо смотрел за реку, на свои луга.

— Пойдешь к нам в подпаски? — усмехнулся Иван.

— Ну чего липнешь к мальчонку? — перебил дед Коля. — Нехорошо это... Разве он виноват? Он, может, больше ихнего Сорокина за колхоз думает...

— Ну, я пошел, — сказал Митька. — Дойть скоро...

— Иди, иди, — закивал старик. — Как же это дед-то Серега? Ведь мы с ним, почитай, с самого начала колхозов в этих лугах...

Митька вошел в воду. Мелкая рябь бесильно теребила утонувшее одинокое облако. Митька поправил картуз и, поднырнув под облако, скорыми саженками поплыл к своему берегу.

## ШУБА

Засыревший большак, исполосованный колесами, выбирая, где поположе, широкой дугой поднимается на косогор. На дороге и пашне еще видны следы недавней бессонно-горячей работы, когда из земли выбиралось и выдиралось все, что она успела и сумела родить людям за недолгое лето. То попадалась в колее раздавленная колесами свекла, то звено от тракторной гусеницы или еще какая неведомая железзяка, оброненная впопыхах машиной, то в стороне, среди черного, белесые скирды молодой соломы. А у обочины торчал случайно не задетый плугом, сгорбившийся, как старик, сухой подсолнух. Ветер шуршал лохмотьями его листьев, а он все кивал и кланялся путникам непокрытой растрепанной головой.

Страда отшумела, и теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковато и неловко улегишаяся на покой.

Дуняшка и Пелагея, поспешая, шли обочь дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений: они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний

полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах.

Пелагея, еще шустрая, сухошахая баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в Степном ватном пиджаке с жестяными перекрещенными молотками в петлицах, — Степка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросила у него пиджак съездить в город. Из-под пиджака высовывался белый, оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то заклихивал между худых Пелагеевых колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая о тощие икры широкими голенищами резиновых сапог.

Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была повыше матери, но подростковое пальтишко с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казалось и ниже ростом, и моложе, скрадывая года два — именно те, в течение которых Дуняшка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянувшись.

Увлеченные разговорами, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она останавливалась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря:

— Чтой-то мы... так... бежем? Гляди, уже где дворы. Небось... не на пожар.

Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли скоро и торопко. Такая уж деревенская дорога: сызмальства не приучены ходить по ней вразвалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело: детишки ли, квашня ли с тестом, поросенок ли некормленный, — если идти с поля, а если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подоспеет страда. Как ни богат колхоз техникой — и комбайны, и культиваторы, и сеелки-веялки всякие, и тракторы по восемьдесят лошадиных сил, — и все же еще столько прорех, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки, подсобим!» — и добавит для подбодрения: — Техника техникой, а все же баба в колхозе — большая сила!» И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад вперед по свекловичу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с галдецей, коли еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают, и таскают ее, в комьях тяжелой земли, по перепаханному полю в кучи. А после, собравшись в кружок, попеременно с пустыми разговорами

и пересудами незаметно да и перевероятно опять многие тонны бурака, обобьют от земли, отсекут ботву, обрежут хвосты и сложат в кучи. И лишь когда за вечером и не разобрать, то ли это свекла, то ли просто грудка земли, поднимаются пестрой стаей и бегут, бегут полевой дорогой, на другом конце которой ждут их другие неотложные домашние заботы.

А на току разве обойтись без нее? Или на сенокосе? На ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина — баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудовня берет, хоть и со сменщиком работает, она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался.

Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Не часто это случается, и потому побывать в городе — чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно-пеструю свежесть — ромашками да незабудками, — повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подросткей девке, а то и себе. Себе-то ведь тоже хочется! А платки какие! За шелковый и взяться страшно: к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя что твой дым — дунул, и полетела! И обутка всякая, и гребенки. Конфет да пряников — аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно-увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы.

Купит ли картуз мальчонке или мужику — не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше — чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена два рубля, а несет она его так, будто невеста что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, шупает, шепчет что-то над нею и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые...

— Да вот обнову купила, — скажет, по-серьезнее. — И не знаю, то ли угодила, то ли нет? — Но тут же сама и порешит: — Сошьется — сносится. Не барыня.

А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое. А хорошее, настоящее зимнее. Чтob с меховым воротником, на подкладке шелковой, да чтob сукно было

доброе. Не часто приходится такие дороги об-  
новы справлять. Себе-то уж и не помнит, когда  
покупала. С воротником — так и вове. Поч-  
итай, полсотни лет прожила, а ни разу мехового  
воротника не носила. Да их как-то раньше и  
не было, кроме овчинных. Платок накину-  
ла — вот и весь воротник. Теперь-то всякие по-  
шли. Под разного зверя. Во всем их роду Ду-  
няшка первая наденет. Подружки уже посправ-  
ляли, а она до сих пор в этом куцем бегает.  
Против людей неловко. Да и то сказать — не-  
веста уже. Третьего дня вышла Пелагея ввече-  
ру корову подотти, глянула через плетень,  
а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ни-  
чего, что с парнем. Уже самостоятельная. Нын-  
че осенью тыщу ввести в колхозе заработала.  
Пятьсот рублей уже разошлись. Перосеночка  
купили, сена копенку, да и так, по мелочам,  
потратилось. Если не купить — разойдутся.  
Тогда до будущего года ждать. А то уж одета  
будет.

Потому и частила сапогами Пелагея, будто  
сваха, озабоченная и взвинченная предстоящим  
нешуточным делом. Где-то там, как в сказке,  
за горами, за долами, невеста в каком магази-  
не, в каком универмаге, неведомо еще какое —  
синее, черное или коричневое, а может, и еще  
краше, висит то, единственное, с меховым во-  
ротником, которое предстоит Пелагее разы-  
скать, выбрать, да не прогадать ни в какой ма-  
лости, чтобы в самый раз пришлось Дуняшке.  
Не так уж это просто.

Все эти думки и заботы вихрились в Пела-  
гееной голове наряду с теми словами, кото-  
рые выговаривала на ходу Дуняшке. Думы —  
сами по себе, слова — сами по себе.

Дуняшка, переключаясь с матерью, тоже про  
свое думала. Прожитая жизнь ее покороче, за-  
бот поменьше, но зато с покупкой пальто у нее  
связано много своих девичьих мыслей, от ко-  
торых всю дорогу радостно голубеют глаза и  
румяно горят щеки.

Взойдя на самую верхушку косогора, где  
дорога опять встретилась с телефонными стол-  
бами, взбежавшими на гору примиком по са-  
мой крутизне, Пелагея остановилась глотнуть  
воздуха. Обе оглянулись и, отдыхая, смотрели  
на деревню. Она все еще виднелась серой по-  
лоской соломенных крыш среди черной зяби и  
просторных полос подросшей озими. Деревня  
казалась совсем маленькой меж необозримого  
уймища земли, вздыбленной холмами, и еще  
большого неба, серо клубящегося осенними ту-  
чами.

Пелагея, пробежав глазами по ряду похо-  
жих одна на другую хат, безошибочно нашла  
свою и, озабоясь, проговорила:

— Наказала Степке сходить в селпо за  
керосином. Забегается — не сходит...

А Дуняшка нашла длинный белый брусо-  
чек своей птицефермы на отшибе деревни, по-  
думала, догадается ли дед Алексей перетянуть  
под навес привезенную рыбную муку, вспо-  
нила о пропавшей вчера любимой курице Моте,  
которую она умела отличать среди сотен дру-  
гих таких же белых. Мотя была нестеропная  
и копуша, но несла крупные яйца. Потом Ду-  
няшка тоже, как и Пелагея, стала перебирать  
глазами хаты. Но искала она не свою, а дру-  
гую... Вот она, под молодым, еще не облетев-  
шим рыжим тополком. Сердце колыхнулось  
и пролилось теплом... Под этим тополком на  
лавочке прошлый раз — не дай бог, мать уз-  
нает! — поцеловал ее Сашка. Она, внутренне  
полая от стыда и счастья, сорвалась со ска-  
мейки и побежала, угнув голову. Только ноги  
не слушались, а сердце так гулко колотилось  
под пальтишком, что не слышала, как нагнал  
он ее и пошел рядом...

Дуняшка, забывшись, долго глядела затума-  
ненными глазами на рыжий тополе, пока Пе-  
лагея не позвала:

— Пойдем, девка! Чтой-то ты!

А выйдя на ровное и разоидясь малость,  
спросила:

— Третьего дня ктой-то под нами стоял?

— Ты про кого, мама? — как могла просто-  
вато спросила Дуняшка, а сама так и пыхнула,  
благо что пыхать-то уж больше некуда было.

— Ну, не дури, — осерчала Пелагея. —  
Небось не глухая. Голос вроде знакомый, а при-  
знать не признала.

— Сашка стоял, — уклончиво сказала Ду-  
няшка. — Так, мимо шел.

— Это чей же? Акимихин, что ли?

— Тетки Фроси... Что хата под тополем.

— А-а! Ну, ну!.. Отслужился, стало быть?

— В Германии служил.

— Что же, привез что-нибудь?

— Не знаю, не спрашивала. Мне-то что!

— Должон привезти, — решила Пелагея.

Обежали большую лужу, налитую дождями,  
в которой утонули обе тропочки, проторенные  
рядом: Пелагея — справа, Дуняшка — слева.  
А когда опять сошлись, Пелагея спросила:

— С матерью будет жить аль в город по-  
дастся?

— Не знаю я.

— А ты б спросила.

— Не спрашивала я.

— Как же об этом не спросить-то? — уди-  
вилась Пелагея.

— Он мне про Германию рассказывал. Ин-  
тересно так! А про это разговору не было.

— Гляди-ка! — хлопнула себя Пелагея по переднику. — Да об этом впервоядь спрашивать надо. А так — что толку провожаться?

Дуняшка заморгала глазами, отвернулась, глядя на голые придорожные кусты.

— Ну, ну! — примирительно сказала Пелагея. — А только, если опять придет, попытай. Тут ничего зазорного нету.

— Не буду я спрашивать, — сердито мотнула головой Дуняшка.

— Не будешь, так я сама разузнаю, — решительно сказала Пелагея, ловко перепрыгивая через канаву.

— Стыд-то какой! И не смей! И не думай даже!

— Дура и есть дура.

— Пусты! А только не смей! Нужен он мне больно!

— У калитки стоишь — стало быть, нужен.

— Много я настояла! — дернула плечами Дуняшка и побегала вперед, норовя обогнать Пелагею, идти одной. — Только и знаю: на ферму и домой.

— Я аль запрещаю? Парень он тихий. На тракториста учился. Стой. А только стоять с умом надо. Девичье дело такое... Вот купим пальто...

Но Пелагея не договорила, потому что и сама не знала, что должно быть, когда купят они пальто.

На шоссе вышли как раз к самому автобусу, часа полтора ехали, разлученные теснотой, терпеливо вынося давку и тряску, и наконец вывалились на автостанций. Пелагея — без одной пары жестяных молоточков в петлице, Дуняшка — со взбившимся на затылок вязаным платком и такая, будто побанилась с березовым веником. Она тут же стала озиаться по сторонам, дивясь пестрой городской сутолоке, а Пелагея сразу сунула руку за пазуху Степкинское пиджака и цапнула кофту под грудью: «Целы? Целы... Ох!»

Они вышли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским водоворотом.

Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спцовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагину передник. Вертялые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: «Гляди, какая вишенка! Блеск! Натуральный напиток!» И она деревенела от робости и смущения. Проходили всякие шляпы — урюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшочкам и горшочкам для гречневой каши, мелким тарелочкам и эмальированным мисочкам и просто ци на что не похо-

жим. Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыликом. А над всем этим людским потоком каменными отвесными берегами высились дома.

Дуняшка редко бывала в городе, и каждый раз он открывался по-новому. Когда приезжала с матерью еще маленькой девочкой, ее так поразили вороха конфет, пряников и множество всяких кукол, что ничего другого она не запомнила, и потом в деревне долго еще снился пряничный город, в котором жили веселые, красивые куклы. Постарше она читала вывески, заглядывалась на милиционера, как он размахивает полосатой палкой и поворачивается туда-сюда, и, пока Пелагея стояла за чем-нибудь в очереди, глядела на кассовую машину, выбивавшую чеки.

Но теперь больше всего ее занимали люди.

«Сколько их, и все разные!» — дивилась Дуняшка, проталкиваясь за матерью. Мимо прошли тысячи, а схожих нет. И не то чтобы лицом, одеждой или годами. А чем-то еще таким, чего Дуняшка понять не могла, но смутно чувствовала эту несхожесть. У них в деревне люди как-то ровные — и лицом, и одеждой, и жизнью.

По пути Пелагея и Дуняшка заходили в магазины, приглядывались к одежде, но примерять не брали. Пелагея говорила:

— Пойдем в главное посмотрим.

Ей казалось, что самое лучшее пальто должно быть в универмаге. Но идти прямо туда ей не хотелось. Нельзя же так: прибежал, отвалил деньги — и до свидания! Кто так покупает? Пелагее было лестно, как продавщицы — красивые, белолицые — снимали с вешалки одно, другое пальто, выбрасывали перед ней на прилавок, а она хотя и знала, что покупать пока не будет, да и по цене подходящего не находилось, но деловито тормозила пальто, щупала верх, дула на воротник, разглядывала подкладку. А тем временем Дуняшка застывалась в галантерею.

Бог ты мой, сколько тут всего! Чулки простые, чулки в резиночку, чулки тоненькие, в паутинку, как у ихней учительницы. Мони-ста! Голубые, в круглую бусинку, красной рябинкой, зеленым прозрачным крыжовником, и рубчатые, и граненные, и в одну нитку, и в целый пучок... А брошки! А сережки! Блузки какие! Гребенки и вовсе небывалые! Глядела на все это Дуняшка, и даже продавцы замечали, как разбегались глаза от красоты невиданной, как сами собой раскрывались пухлые Дуняшкины губы от восхищения. Подходила Пелагея, не торопясь, разглядывала все это богат-



ство, полная внутренней гордости, что если захочет, то все может купить.

Смотрели на Дуняшку продавцы, ждали, чего пожелает она, на чем остановит свой выбор. А Дуняшка торопливо шептала Пелагее:

— Глянь, какие, сережки! Не дорого, а как золотые! — и моляще дергала мать за рукав.

— Пошли, пошли! Некогда тут! — озабоченно говорила Пелагея.

А Дуняшка:

— Мама, хоть гребенку!

Но Пелагея направлялась к выходу и лишь за порогом, чтоб не слышали люди, гусиным шепотком выговаривала:

— Гребенку купим, а на пальто не хватит. Понимать надо!

До универмага они добрались лишь после обеда. Правда, сами они еще ничего не ели: и некогда было, и не хотелось. У входа в магазин люд вертелся, как вода в мельничном омуте. Здесь засасывало, кружило и выбрасывало сразу десятки людей. Из дверей универмага доносился глухой непрерывный гул, будто там тяжело вращались жернова.

Пелагея и Дуняшка протолкались внутрь, наспех обежали первый этаж, но там продавалось не то, что нужно, и они пошли выше. На лестничной площадке, между первым и вторым этажами, они увидели себя в огромном зеркале, вделанном в стену. Зеркало молчаливо подсказывало каждому проходящему мимо, что именно надо ему заменить или чего не хватает в одежде.

Пелагея поднималась по лестнице, высоко подбывая коленями свой оборчатый фартук. Она отчужденно взглянула на себя и вдруг проговорила:

— Батюшки, молотки-то я потеряла! Теперь убьет малый...

Одной ступенькой ниже поднималась Дуняшка. Она глядела в зеркало во все глаза, потому что видела себя вот так, всю сразу, первый раз в жизни. В своем вязаном платке, делавшем ее голову круглой и обыкновенной, в куцем, узкоплечем сереньком пальтишке, из-под которого торчали длинные, крепкие ноги в хромовых забрызганных сапогах, Дуняшка походила на молодую серенькую курочку, у которой еще как следует не прорезался нарядный гребешок, не округлился зобик, не поднялся кверху хвостик, зато уже отросли сильные, выносливые ноги. Но щеки ее по-прежнему неумоимо пылали, и зеркало шепнуло: «Разве можно в таком пальто ходить под рыжий тополек?»

В отделе верхней женской одежды было не очень много народу. За прилавком в огром-

ном длинном салоне в благоговейной тишине и терпком запахе мехов и нафталина висели пальто и шубы. Они помещались длинными рядами, как коровы в стойлах на образцовой совхозной ферме, — рукав к рукаву, масть к масти, порода к породе. На каждом из них висели картонные бирки. Между рядами в торжественном почтении, разговаривая вполголоса, ходили покупатели, брали в ладони бирки, приценивались.

— Вам для девочки? — посмотрев внимательно на Дуняшку, спросила полная пожилая продавщица в очках и халате, похожая на ветврача из соседнего совхозного отделения. — Пожалуйста, пройдите. Сорок шестые направо.

Пелагея, а за ней и Дуняшка несмело вошли за обитый красным плюшем барьер и начали осмотр с края. Но Дуняшка шепнула: «Черное не хочу», — и они прошли к бежевым. Бежевые были хороши. Большие роговые пуговицы. Мягкий коричневый воротник. Кремовая шелковая подкладка. Пелагея смяла в кулаке угол полы — не мнется.

— Дуня, ну-ка прочитай.

— Тысяча двести.

— Так, так, — сдвинула брови Пелагея. — Маркое дуже. Вон у агрономши. Ехала в машине — запятнала. А теперь хоть брось.

— Мама, смотри, вон темно-синие! — зашептала Дуняшка.

— Ничего сукнецо! — одобрила Пелагея.

— Воротник красивый! Просто пух! — шепнула Дуняшка.

— Тысяча девятьсот шестьдесят.

— Это небось год указан?

— Да нет... рубли.

— А-а... рубли... Уж больно дорого что-то. Пальто — так себе. И воротник небось собачий. Ни лиса, ни кот. Собака и есть.

Дальше висели светло-серые. Они были почему-то без воротников, но зато с опушкой на рукавах. Пелагея недоверчиво покосилась на бирку, но просить Дуняшку прочитать не решилась. За серыми пошли шубы.

— Небось тоже дорогие, — сказала Пелагея, — тыщи на полторы, не меньше.

— Ну, подобрали что-нибудь? — спросила продавщица.

— Да что-то не нравятся, — озабоченно сказала Пелагея. — То маркие больно, то крою не нашенского.

Продавщица, бросив едва заметный взгляд на Пелагею передник, спросила:

— Вы на какую цену хотели бы?

Пелагея задумалась.

— Да вот и сама не знаю, — сказала она, — Брать дорогое рискованно. Дочка еще

будет расти. Пока 6 рублей за семьсот. А то можно и подешевле.

— Конечно, конечно, — понимающе закивала очками продавщица. — Девочка еще в росте.

— Вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

— Есть у нас для нее великолепное пальто! — сказала продавщица. — Недорогое, но очень даже приличное. Пойдемте. Мы ее сейчас так разоденем.

Продавщица прошла в самый конец ряда и, поковавшись, подала:

— Вот, пожалуйста.

Пальто и верно было хорошее. Коричневое в елочку. Воротник черный. Вата настега не внатруску, а как следует. Теплое пальто! Пелагея дунула на воротник — мех заколыхался, провела по шерсти — прилег мех, заблестел воронным крылом.

— Драп, воротничок под котик, — пояснила продавщица, поворачивая пальто на пальце. — Пожалуйста, подкладочка из шелковой саржи. Чистенько. Тебе нравится? — спросила она Дуняшку.

Дуняшка застенчиво улыбнулась.

— Ну вот и отличненько! — тоже улыбнулась продавщица. — Давайте примерим. Вот зеркало.

С радостным трепетом надевала Дуняшка пальто. От него пахло новой материей и мехом. Даже сквозь платье Дуняшка ощущала, какой гладкой была подкладка. Она была прохладной только сначала, но потом сразу же охватило тело уютным теплом. Вокруг шеи пушисто, ласково лег воротник. Дрожащими пальцами Дуняшка застегивала тугие пуговицы, и Пелагея, озабоченно раскрасневшаяся, кинулась ей помогать. Как только пуговицы были застегнуты, Дуняшка сразу почувствовала себя подтянутой и стройной. Грудь не давило, как в старом пальто, а на бедрах и в талии она ощутила ту самую ладность хорошо сидящей одежды, когда и не тесно и не свободно, а как раз в самую пору.

Посмотреть на примерку пришли почти все бывшие за барьером покупатели. Какой-то старичок с белой, будто выстиранной бородой, летчик с женой. Дама в черном пальто и черном-дымчатой лилице с мужчиной очень приличного вида в красном шарфике тоже подошла к примерочной.

Дуняшка посмотрела в зеркало и обомлела. Она и не она! Сразу повзрослела, выладнялась, округлилась, где положено. Она увидела свои собственные глаза, сиявшие счастливой голубизной, и впервые почувствовала себя взрослой.

— Прямо невеста! — сказал старичок.

— Вам очень к лицу, — заметила жена летчика. — Берите, не сомневайтесь.

— Ну что за прелесть девчонка! — улыбнулась дама в лисе. — Что значит одеть как следует человека. Недаром же говорится: «По одежде встречают...» Разреши, милая, я направлю твою косичку. Вот так. Чудо, а не пальто.

— Выписывать? — наконец спросила продавщица и достала из кармашка чековую книжку.

— Раз люди хвалят, то возьмем, — сказала Пелагея. — Семнадцать годков дочке-то. Как не взять.

— Пожалуйста: шестьсот девяносто три рубля двадцать одна копейка. Касса рядом.

Пелагея побежала платить, а Дуняшка, неохотно расставшись с новым пальто, натянула на себя старенькое и повязала платок.

— Счастливая пора у этой девочки, — вздохнула дама. — Первое пальто, первые туфельки... Все впервые...

Продавщица ловко завернула покупку в бумагу, несколькими взмахами руки обмотала бечевкой и, шелкнув ножницами, подала Дуняшке.

— Носи на здоровье.

— Спасибо, — тихо поблагодарила Дуняшка.

— Спасибо вам, люди добрые, за совет и помощь, — сказала Пелагея. — Тебе, дочка, спасибо на ласковом слове, — сказала она даме.

— Ну что вы! — улыбнулась дама. — Приятно было посмотреть на вашу девочку. Ты в каком классе?

— На ферме я, — проговорила Дуняшка застенчиво и уставилась на свои большие красные руки, державшие покупку.

— Она у нас птичницей в колхозе работает, — пояснила Пелагея. — Триста ден выработала. На ее деньги пальто и справили.

— Ну, это совсем мило! — сказала дама и очарованно еще раз посмотрела на Дуняшку.

Сразу уходить из магазина не хотелось. Пелагея и Дуняшка еще не остыли от возбуждения и долго толкались по разным отделам. После покупки пальто, которое Дуняшка носила под мышкой, все время поглядывая на него, хотелось еще чего-нибудь. И они, разглядывая товары, говорили, что хорошо бы к такому пальто прикупить еще и боты. «Вон те, с опушкой». — «Говорят, они неноские». — «Как же неноские? Катька Аболдуева третью зиму носит». — «Ладно, купи. Такие у нас в сельпо есть». — «Мама, глянь, какие шляпы!» — «Ты что, спятила? Будешь ты ее носить!» — «Да я так просто». — «Тебе 6 платок теперь пуховый».

Так обошли они весь этаж и опять, проходя мимо отдела верхней одежды, остановились взглянуть на прощание на висевшие пальто.

За барьером они увидели даму, примерявшую шубу. Мужчина в красном шарфике стоял рядом. Он держал ее пальто.

Шуба была из каких-то мелких шкурок с темно-бурыми спинками и рыжими краями, отчего она выглядела полосатой. Продащица, развернув шубу, набросила ее на даму, и та сразу потонула с головы до пят в горе рыжего легкого меха. Были видны только гребень взбитых на макушке волос цвета крепкого чая да снизу, из-под края шубы, — щиколотки ног и черные туфельки.

— Широкая дуже, — шепотом заметила Пелагея. — Совсем человека не видно.

Дуняшке шуба тоже показалась очень просторной и длинной. Она свисала с плеч волнистыми складками, рукава были широкие, с большими отворотами, а воротник разлется от плеча до плеча. Может быть, так казалось после черного пальто, которое очень ладно сидело на даме?

Пальто это было очень хорошее, совсем новое — и материал, и лисий воротник. Его еще можно носить и носить, и если бы у Дуняшки было такое, она не стала бы брать шубу, а купила бы пуховой платок и боты.

Дуняшке хотелось сказать об этом даме, хотелось проявить участие, посоветовать что-нибудь, как советовали только что во время примерки ей самой. Но, конечно, она ни за что не решилась бы. Это она только так, про себя. Она не знала, какие надо говорить слова, и вообще робела перед этой хотя и приветливой, но все же в чем-то недоступной женщиной.

Дама передернула плечами, отчего шуба заходила на спине широкими складками, и посмотрела на себя в зеркало. Дуняшка увидела ее красивое, в этот момент слегка поbledневшее лицо, охваченное широким рыжим воротником. Живые светло-коричневые глаза смотрели внимательно и строго, а подкрашенные губы чуть улыбались.

— Филипп, тебе нравится? — спросила дама, проводя выгнутой ладонью по щеке и волосам.

— В общем, ничего, — сказал мужчина. — Пожалуй, даже лучше той...

— Как сзади?

— Три складочки. Как раз то, что ты любишь.

— Может быть, не будем брать? Мне не очень нравится воротник.

— Отчего же? Шуба тебе к лицу. А воротник — пригласи Бориса Абрамовича. Переделает.

— Мне его что-то не хочется. Марина Михайловна говорила, что он ей испортил шубу. Я позвоню Покровской — у нее хороший скорняк.

Дама еще раз взглянула на себя в зеркало.

— Хорошо, я беру, — сказала она. — Если что — Элка сносит.

— Разрешите выписать? — учтиво спросила продавщица.

— Да, да, милая...

Мужчина пошел платить. Он расстегнул портфель и положил на кассовую тарелочку два серых кирпичика сотенных, перехваченных бумажной лентой.

— Это все за одну шубу?! — ахнула Дуняшка.

Шуба была завернута в бумагу. Продащица с серьезным лицом, на котором была написана вся торжественность момента, несколькими привычными взмахами руки обмотала пакет бечевкой и, вручая даме, так же, как и Дуняшке, пожелала:

— Носите на здоровье.

— Благодарю вас.

— Вот мы с тобой и с обновками! — улыбнулась дама, заметив Дуняшку, и ласково потрепала ее по щеке.

В ее руках был совсем такой же пакет, как и Дуняшкин, почти такого же размера, в той же белой бумаге с красными треугольниками, так же перехваченный крест-накрест бечевкой. Положишь рядом — не различишь.

Мужчина взял у нее пакет, и они вышли.

На улице сыпал мелкий дождик. Асфальт блестел. Дуняшка и Пелагея видели, как дама и мужчина сели в мокрую блестяще-черную машину и поехали. В заднем окошечке мелькнула лисья мордочка воротника с красной пастью.

— Хорошие люди, — сказала Пелагея. — Обходительные.

Дуняшка посмотрела на свой пакет. Дождь дробно барабанил по обертке, и бумага покрылась пятнами. Дуняшка расстегнула пальто, спрятала покупку под полу.

— Мама, есть хочется, — сказала она.

На сдачу от пальто они купили у лоточницы по булке и по мороженому, остальную мелочь спрятали на дорогу. Зашли за газетную будку и стали есть. Они ели жадно и молча, потому что проголодались, и еще потому, что было неловко есть на людях. А мимо все шли и шли поднятые воротники и шляпы, кепки и спецовки, очки и береты, докали туфельки и шаркали матерчатые боты. Время от времени проходили раздутые портфели, и Дуняшке казалось, что они набиты сотенными. Иногда проплывали

лисы, уютно пристроившиеся под зонтиками. На них не капало.

— Ну, пошли, что ли? — сказала Пелагея, отряхивая с пиджака крошки. — Не знаю, купил ли Степка неросину...

С автобуса они сошли еще засветло. Дождь перестал, но большак осклиз и тускло поблескивал среди черной, тяжело осевшей влажной земли. Пелагея подоткнула под пиджак фар-тук и, развезжаясь сапогами по убитой тропинке, зашагала впереди Дуняшки. Теперь она спешила домой, потому что надо еще успеть постирать Степкино белье. Завтра рано ему ехать в школу механизации. Дуняшка бежала следом. Ей тоже хотелось поскорее домой.

Уже перед самым косогором вдруг проглянуло солнце. Оно ударило пучком лучей в узкую прореху между землей и небом, и большак засверкал бесчисленными лужами и залитыми колеями.

Выйдя на самую кручу, они остановились передохнуть. После дождя потишило и потеплело. Город притомил Дуняшку своей сутолокой, а здесь, в поле, было тихо, хорошо и так все привычно. Возле подсолнуха, одиноко торчавшего у дороги, стоял теленок. Он обдергивал влажные, обмякшие листья и неторопливо жевал их, пересовывая языком черенок. Перестав есть и растопырив уши, он задумчиво уставился на Пелагею и Дуняшку. Недоеденный черенок торчал из его влажных розовых губ.

— Скоро придем, — сказала Пелагея. — Ну-ка, дай сюда...

Она взяла у Дуняшки сверток и проткнула пальцем бумагу. В прорыв проглянула подкладка. Она была цвета молочной пеночки и шелково переливалась на свету.

— Хорошая подкладка! — одобрила Пелагея. — Ну-ка, погляди,

— Хоть на платье! — сказала Дуняшка. — Мама, а верх какой? Я забыла...

Поковыряли бумагу в другом месте, добрались до верха.

— И верх хороший! — еще раз убедилась Дуняшка.

— Ну, верху — сносу нет! Говори, что тыщу отдали.

— За тыщу и хуже бывает. Помнишь, то висело, бежевое?

— И глядеть не на что!

— Мама, давай воротник посмотрим. Еще воротник не посмотрели.

Воротник был мягок и черен, как вороново крыло. Замечательный воротник!

— Как она сказала — какой воротник?

— Под котик.

— А-а... Ишь ты! Дорогой небось.

— Мама, и теплое!

— Теплое, дочка. — Пелагея прикинула сверток на руке. — Насчет теплоты и говорить нечего. А что шуба? Одно только название. Ни греву, ни красы. Как зипун. Была б она целая. А то из латок. Того и гляди, лопнет на швах. Да и вытвется. А уж это — красота! И к лицу. И сидит ладно.

— Я в нем как взрослая, — застенчиво улыbnулась Дуняшка.

— Молчи, девонька, продадим теленка — платок пуховый справим.

— И ботики! — вся засветилась Дуняшка.

— Справим и боты! Справим!

Под горку бежалось легко. Чтоб сократить дорогу, пошли напрямки по травянистому склону. Впереди, выхваченная солнцем из темной пашни, белела хатами деревня. Дуняшка, млея от тихой радости, отыскивала глазами рыжий тополек.

# СОДЕРЖАНИЕ

В чистом поле за проселком . . . . .	1
Шумит луговая овсяница . . . . .	7
Пятый день осенней выставки . . . . .	27
Варька . . . . .	38
Портрет . . . . .	50
Есть ли жизнь на других планетах? . . . . .	55
На рассвете . . . . .	60
Подпасок . . . . .	68
Шуба . . . . .	71

*Евгений Иванович Носов*  
**В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ**

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ Редактор Л. ХАНДРУЕВА

Художественный редактор *Г. Масляненко* Технический редактор *С. Журбицкая*  
 Корректоры *Н. Замятина* и *Т. Медведева*  
 Фото *Н. Кочнева*

Сдано в набор 14/XI 1973 г. Подписано в печать 18/XII 1973 г. А04965. Бумага газетная 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
 5 печ. л. 8,4 усл. печ. л. 9,792 уч.-изд. л. Тираж 1 500 000 экз., 1-й завод 1—1 000 000 экз.  
 Заказ 1104. Цена 31 коп.

Издательство «Художественная литература»  
 Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени  
 А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР  
 по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская ул., 26  
 Обложка отпечатана на Ленинградской фабрике офсетной печати № 1, Крошверская ул., 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ В СВЕТ

собрание сочинений

КОСТА ХЕТАГУРОВА

Собрание сочинений великого осетинского поэта, основоположника и классика осетинской литературы и осетинского литературного языка, драматурга и публициста, художника и общественного деятеля Коста Левановича Хетагурова (1859—1906) издается к двухсотлетию со дня добровольного присоединения Осетии к России и пятидесятилетию Северо-Осетинской АССР.

Многие произведения Коста — так чаще всего подписывал он свои художественные произведения и так его звали в народе, — еще до появления их в печати или будучи запрещенными царской цензурой, распространялись в многочисленных списках. Их пели и перелагали на музыку, они становились народными в самом высоком смысле этого слова, а само имя Коста, еще при жизни поэта, стало широко известным как имя народного заступника, непримиримого борца за интересы родного народа.

Я счастья не знал, но я готов саободу,  
Которой я привык, как счастьем, дорожить,  
Отдать за шаг один, который бы народу  
Я мог когда-нибудь к свободе проложить, —

утверждал поэт в стихотворении «Я смерти не боюсь». Коста был убежден, что «страдать за других невозможно, если ты не изведal страданья», жил жизнью народа, его думами и чаяниями. С полным правом он мог сказать о себе:

...И грудью грудь насилия встречаю,  
И смело всем о правде говорю.

Коста верил в победу справедливости и потому в стихотворении «Не упрекай меня» уверенно писал: «Уж брезжит луч зари, играя на штыках...»

«Осетинский народ, — говорил Александр Фадеев в дни празднования 80-летия со дня рождения Коста, — может гордиться тем, что в сокровищнице многоцветной культуры социализма будут играть краски и цвета, вызванные к жизни таким художником, как Коста Хетагуров».

Собрание сочинений Коста Хетагурова издается в трех томах, которые будут выпущены в течение 1974—1975 годов.

В первый том войдут переведенные на русский язык его стихотворения, составившие знаменитую книгу «Осетинская лира», и стихотворения, написанные поэтом на русском языке; во второй — поэмы, пьеса «Дуня», рассказы и очерк «Особа»; в третий — статьи и письма поэта. Открывается Собрание сочинений вступительной статьей о жизненном и творческом пути Коста. Каждый том сопровождается необходимыми комментариями. Все тома иллюстрированы фотопортретами и цветными репродукциями с картин Коста-живописца.

Подписка принимается книжными магазинами, распространяющими подписные издания.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В № 3 «РОМАН-ГАЗЕТЫ»

Ч И Т А Й Т Е

РОМАН

АРКАДИЯ ПЕРВЕНЦЕВА

С Е К Р Е Т Н Ы Й   Ф Р О Н Т

Действие романа Аркадия Первенцева разворачивается в западных областях Украины вскоре после окончания войны с гитлеровскими захватчиками. Автор рассказывает о борьбе с бандеровщиной — националистическим охвостьем, о том, как бойцы добровольных народных дружин, пограничники, партийный и комсомольский актив вели борьбу с бандами националистов, пресекая их кровавые злодеяния.

Повествуя о событиях давно прошедших, роман обращен к современности, к актуальным проблемам идеологической борьбы, призывает крепить великие традиции интернационализма и советского патриотизма.



**Larisa\_F**